

Б И Б Л И О Т Е К А

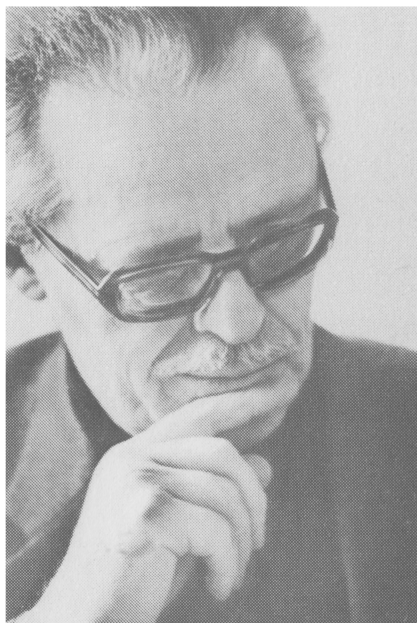
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 1

1989



*Борис ВАСИЛЬЕВ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**К О Р Р И Д А  
В БОЛЬШОМ ПОРЯДКЕ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 1

Борис ВАСИЛЬЕВ

# КОРРИДА В БОЛЬШОМ ПОРЯДКЕ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1989

Борис ВАСИЛЬЕВ

*Борис Львович Васильев родился в 1924 году. По профессии — военный инженер-испытатель. До 1954 года работал по специальности на заводе, затем демобилизовался. Литературную деятельность начал в 1955 году пьесой «Офицер», поставленной в Центральном академическом театре Советской Армии. Много работал в качестве автора сценариев художественных фильмов, поставленных на различных студиях страны. С 1960 года — член Союза кинематографистов СССР. В 1969 году была опубликована первая повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие...», удостоенная Государственной премии СССР. Роман Б. Васильева «Были и не были», повести «Самый последний день», «В списках не значился», «Встречный бой», «Завтра была война» и другие произведения переведены на многие языки народов СССР и на языки народов мира.*

## НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ

По окончании училища Галя Анисимову распределили в совхоз «Светлый путь». Район был глухим, и никто в него особо не рвался. Если сказать честно, то из города вообще никто не хотел уезжать: три девочки вышли замуж, еще четверо куда-то пристроились, а одна так совсем поступила не по-комсомольски, взявшись торговать квасом. И как раз все они были из колхозов (те, кто устроился), а Галя — из города, но именно Галя проявила сознательность. Это ведь очень важно, что человек имеет, а чего — не имеет; так вот, Галя имела жилплощадь, комсомольский билет и две общие тетради: в одну она переписывала любимые стихи, в другую — важные мысли, и первой была записана такая: «ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО». И поэтому Галя, поплакав ночь с мамой, утром получила документы и направление воспитательницей младших классов. Так ей и написали, потому что окончила она училище дошкольного воспитания, но детских садов в совхозе не было, а учителей не хватало, вот ей и написали в путевке такое хитрое назначение, что вроде она воспитатель, но вроде и учитель, и это Гале очень понравилось. И отцу понравилось: он по утрам мог еще все правильно оценивать.

— Молодец, дочка, так держать. Назад не вертанешь?

— Ни за что!

— Ну, давай на полный ход.

От станции до центральной усадьбы совхоза ходил автобус, и Галя отметила интересную деталь, что расписание было согласовано с прибытием поездов. Такая забота о приезжающих ей очень понравилась, всякие страхи рассеялись, и Галя прибыла к месту первой в своей жизни работы в состоянии улыбки. И сразу пошла к самому директору, потому что считала, что он тут всему голова. Перед директорским кабинетом сидело много народа, но Галя показала чемодан, и ее пропустили без очереди.

— Здравствуйте. Я — Анисимова.

Директор оказался на директора непохожим: был худ и очкаст. Молча выслушал, покрутил головой:

— Неужто добровольно?

— Я — комсомолка, — с достоинством сказала она.

— Ну, дуй тогда прямиком в школу.

В школе шел ремонт своими силами: белили, красили, клеили, чистили, мыли, и всем руководила директриса Антонина Кондратьевна. Кроме нее, в учительской бригаде трудились историчка Анна Петровна, литераторша Прасковья Ивановна, математичка Зоя Леонтьевна и физкультурница Алла. Галю встретили, как родную: расспросили, накормили, устроили в комнате вместе с Аллой и дали день на ознакомление. Галя оттащила вещи, распаковалась и пошла погулять по поселку. А в центре оказался магазин, в котором без всякой очереди, толкотни и знакомств продавались замечательные и сравнительно не очень дорогие сапожки. И Галя так была потрясена первым днем, что вечером написала маме восторженное письмо: «Мамочка, это прямо праздник!»

— Мамочке, значит, строчишь, — отметила Алла, заглянув через плечо. — А парня нет у тебя?

— Никого у меня нет, — с вызовом сказала Галя, но слегка покраснела.

— Значит, одна будешь по вечерам гулять, — вздохнула Алла. — По средам и пятницам с семи до одиннадцати.

— А почему такая точность?

— А потому, что ко мне исключительно точно приходит один человек.

— Ну и пусть приходит, я в уголке почитаю.

— А потому, что он — женатый, — тем же очень противным тоном продолжала Алла, будто и не слышала о Галином намерении скромно почитать в уголке.

— Как ты можешь? — тихо спросила Галя. — Нет, как ты можешь, Алла? Ты же подрываешь семью, подрываешь нашу мораль и вообще... И вообще, где твое человеческое и женское достоинство?

— Ты психичка? И откуда ты взялась такая? Да холостые либо в армии, либо на стройках, а кто тут задержался, тот давно уж только с водкой и забавляется. А мне двадцать шесть, поняла? Вот и будешь гулять по средам и пятницам!

Выпалив, Алла вдруг разревелась, хотя ростом и тренированной фигурой совсем не подходила для этого. Ревела громко и горько, и жалостливая Галя тут же кинулась поить валерьянкой, уверяя, что непременно будет гулять по средам и пятницам. Потом и сама заплакала, и они славно поревели в четыре глаза и подружились.

— Знаешь, Аллочка, мне мама всегда говорила: «Не имей, Галя, сто рублей, а имей сто друзей». Вот съедутся учителя, будем у нас собираться, проводить диспуты, обсуждать книги любимых авторов.

— Директорша тебе пообсуждает, — усмехнулась Алла. — Знаешь, как ее в совхозе зовут? Царь-Кондратьевна. Как скажет, так и будет, и никаких тебе диспутов.

На другое утро они вместе побежали в школу, и Галя сразу включилась в работу, с некоторой опаской поглядывая на «царя». Но Антонина Кондратьевна не просто всем указывала да приказывала, а сама бралась за самую тяжелую работу, первой приходила и последней уходила, и все ее слушались исключительно из уважения. Конечно же, Алла стучала краски, никакая Кондратьевна не царь, а буквально главная рабочая лошадь. Это Галя поняла быстро, перестала бояться и даже начала петь. Она очень любила комсомольские песни Александры Пахмутовой, и голос у нее был как будто специально создан для таких песен. Да и сама Алла, между прочим, ни капельки «царя» не боялась, а приставала больше всех, требуя денег на спортивный инвентарь.

— Ну не дает совхоз, Алла, не дает, — вздыхала Антонина Кондратьевна. — Вот уберутся...

— А вы потребуйте, — наседала Алла. — Стукните кулаком по столу, покричите на директора.

— Ну ладно, ну потом, ну докрасим...

Потом наступила среда, и Алла выставила Галю ровнехонько в половине седьмого. Вечер был теплым, Галя немного погуляла, а когда стемнело, пошла в кино. Смотрела что-то про разведчиков, фильм кончился в двенадцатом часу, и она побежала домой. Алла лежала в постели, глядела в потолок и улыбалась.

— Уже спишь? — спросила Галя.

— Еще сплю.

— Как так — еще? Он... Ну, то есть. Не пришел, значит?

— Нет, ты все-таки психичка, — рассмеялась Алла. — Потому и сплю, что пришел.

Галя перестала расспрашивать и стала краснеть, поскольку кое-что все же сообразила. Для нее любовь еще упрямо ассоциировалась со вздохами на скамейке, так как в этом вопросе не имелось решительно никакого опыта. Она быстренько разделась, юркнула под одеяло, сказала: «Спокойной ночи!», отвернулась к стенке и долго еще краснела.

— Спокойной ночи, малыши! — громко сказала Алла, когда Галя еще продолжала краснеть, но уже начала засыпать. — Ох и посплю же я сегодня.

Она и вправду спала как убитая, а Галя вздыхала, ворочалась и думала. И чем больше думала, тем больше убеждалась, что обязана вмешаться. Что ее соседка по комнате, товарищ по комсомолу и работе в школе обманывает неизвестную женщину, обрекая ее на горе, а семью на распад. Но с Аллой говорить было бесполезно (Галя с трудом, но допускала, что физкультурница влюбилась), и, движимая благородным беспокойством, Галя решила познакомиться с «ним» и по-товарищески все ему объяснить. Что это нехорошо и что пусть уж он лучше все откровенно расскажет жене и разведется, хотя развод — явление исключительное. Ну и еще обязательно про честь и достоинство женщины, имеющей абсолютно равные права.

В пятницу Алла опять выставила ее, но Галя на сей раз в кино не пошла, а нагулявшись, стала кружить возле дома и действительно около одиннадцати заметила мужчину, вышмыгнувшего из их подъезда. Но она не рассчитала, оказалась сзади, а он шагал широко, и настичь его не удалось. Но разведка прошла удачно, и Галя ждала следующей среды со все возрастающим охотничьим азартом.

А жизнь шла своим чередом. Ремонтировали, белили, красили, уставали, ворчали, но — делали, и как всегда неугомонная Царь-Кондратьевна делала больше всех, ворчала больше всех, уставала больше всех, но никогда ни на что не жаловалась. И Галя в нее непременно бы влюбилась, если бы не эта история с разрушением семьи. Сначала следовало навести порядок, и это Галя ощущала как свой личный долг. И в очередную среду, промокнув под дождем и продрогнув под ветром, перехватила подлеца-двоелюба, ринулась навстречу да так с открытым ртом и окаменела. А он обошел ее и поспешно затрусил дальше, пригнувшись и подняв воротник. А Галя со всех ног бросилась в дом. Влетела в комнату, где опять тихо и расслабленно блаженствовала в теплой постели Алла, и выпалила:

— Да он же... Он же старый! Ему же лет сорок!

— Он — мужчина, — странным тоном сказала Алла и так потянулась всем своим физкультурным телом, что Галю сразу же бросило в маков цвет.

Ей стало так стыдно и от слова «мужчина», и от того, как потянулась тугая физкультурница, что она разревелась. Ревела в голос, всхлипывала и кричала:

— Стыдно, стыдно! Да у него дочка, наверно, старше меня! Как ты можешь, где твоя девичья гордость, где твое женское достоинство! Нет, или ты немедленно поврвешь с этим ужасным стариком, или я пойду к его жене. Или... или напишу в «Комсомолку»!

— Или получишь, — сказала Алла. — Спать, зануда!

И Галя тотчас же легла в постель, даваясь слезами и тихонечко всхлипывая, потому что испугалась. То ли глаза у Аллы сверкнули, то ли кулак она сжала, то ли голос был обещающим, а только Галя затихла, как мышка. Долго жалобно вздыхала, думала, как же ей теперь бороться, а потом уснула. А слезы катились по спящему лицу.

Проснувшись, она сразу поняла, что с этого дня началась война: Алла ушла на работу одна. Огорченная Галя выпила чаю и побежала в школу, но в почтовом ящике обнаружила перевод. И тут же заулыбалась, подумав, какая у нее заботливая мама, и как это она умудрилась изыскать эти сто рублей.

— По двадцать пять выдам, — сонно сказала девушка на почте. — Все равно других нет.

— Конечно, конечно! — обрадовалась Галя.

Ей очень нравились четвертные, потому что она никогда не держала их в руках. Впрочем, полусотенные и сотенные чаю тоже не держала,



но считала, что все следует познавать постепенно. И получив четыре двадцатипятирублевки, старательно уложила их в маленький кармашек сумки и даже застегнула кармашек на булавку. И так волновалась, что забыла листок почтового перевода в окошке почты. А там мама сообщила, что очень за нее рада и что посылает деньги на сапожки, которых у Гали никогда в жизни еще не было.

В школе все работали, но объяснять ничего не пришлось, потому что не явилась сама Антонина Кондратьевна. Галя швырнула сумку, надела рабочий халатик и начала помогать. А вскоре пришла и сама Царь-Кондратьевна и с порога закричала:

— Не так, не так, мыть сперва надо! Господи, да подождите, я покажу!

Забегала в комнату, переоделась, схватилась работать — только поспевай. И все схватились: Галю три раза к питьевому бачку за водой посылали. Все исправили, заново отмыли, а пока сохло, сошлись в чистой комнате передохнуть.

— И как это я про купорос забыла, — сокрушалась историчка.

— Хорошо, я вовремя поспела, — улыбнулась директриса. — Кручусь по кабинетам, а сердце не на месте. Ну да ладно, главное — выдали нам обещанное. Покупай, Алла, свои футболы.

Полезла в свою огромную сумку и — замерла. И улыбка вдруг с лица сошла, руки судорожно закопошились, все в сумке переворачивая. Потом Антонина Кондратьевна руки вытащила, оглядела всех суровым взглядом и сказала:

— Анну Петровну как профорга прошу остаться. Остальным выйти вон.

— А что случилось? — спросила Алла, которой только что пообещали долгожданные футболы.

— Я сказала, выйти! Буду вызывать, когда сочту нужным.

Все, толкаясь, вышли, и Галя подумала, что никогда еще не видела директрису такой сердитой. Алла шепталась с математичкой и литераторшей, Галю в разговор не включали; она выбралась во двор и села на скамейку. Ветра не было, солнышко грело всю; Галя сладко жмурилась и подставляла ноги, чтоб загорели. А потом Алла крикнула, что велено; Галя вошла вместе со всеми, но была разморенная и очень ласковая, а тут сразу спросили, сколько у нее при себе денег. Она растерялась, забыла про перевод и сказала:

— У меня с собой семнадцать рублей до получки.

Это она успела подумать, что, может, кто-нибудь остро нуждается, хотела по-товарищески помочь, но предупредила, что «до получки».

— Это твоя сумка? — спросила Царь-Кондратьевна. — Вытряси из нее все на стол.

Галя послушно раскрыла сумочку, перевернула ее и встряхнула. И первыми вылетели сто рублей четырьмя двадцатипятирублевками. Га-

ля очень удивилась: она хорошо помнила, что положила деньги в маленький кармашек и застегнула на булавку. И сказала:

— А почему они вывалились? Ведь я их спрятала.

— Ах, она спрятала! — громко объявила Анна Петровна. — Прошу всех запомнить: она созналась, что прятала.

— Вот твои деньги, Алла, — вздохнула директриса. — На футболы и баскетболы.

И брезгливо, двумя пальцами взяла четвертные и протянула их Алле. А потом повернулась к Гале всем телом и молча стала на нее глядеть. Остальные тоже на нее глядели, и Галя, еще ничего не успев сообразить, покраснела и заплакала.

— Еще стыд есть, — вздохнула литераторша.

— Ну, Анисимова, — сказала Царь-Кондратьевна. — Что будем делать, Анисимова?

— Это мои деньги, — размазывая слезы, сказала Галя. — Мне мама прислала.

— Врет, — сказала Алла. — Похвасталась бы, если бы прислали. Или ты такая богачка, что для тебя сто рублей тыфу, да? А еще морали мне читала!

— Эти сто рублей я сегодня получила в совхозной кассе, — с похоронной торжественностью сказала Антонина Кондратьевна. — У меня есть свидетель — кассир, который выдал мне четыре купюры. Вот эти самые. А у тебя есть свидетели, Анисимова?

— Мама, — начала Галя, со страху забыв про сонную девчонку на почте, про перевод и собственную расписку на нем. — Мама мне...

— Значит, ты — воровка, — убежденно сказала историчка Анна Петровна. — Вот, товарищи, какое пополнение получил наш коллектив. Полюбуйтесь.

— Нет! — отчаянно закричала Галя. — Нет же, нет, нет!..

— Стыдится, — вздохнула литераторша Прасковья Ивановна. — Не все еще потеряно.

— Ну в этом милиция лучше нас разберется, — сказала директриса. — Алла, сходи за участковым.

— Нет! Я умоляю! Я прошу, прошу, прошу! — Галя упала на колени, захлебываясь слезами. — Прошу!..

Интуитивно она чувствовала, что утверждать, будто это ее деньги, сейчас не только бессмысленно, но и опасно: все были твердо убеждены, что она украла эту несчастную сотню. Ее упорство еще больше обозлило бы их, и тогда они могли натворить ужасные вещи: потребовать, чтобы ее арестовали, уволили из школы, исключили бы из комсомола, с позором отдали бы под суд. И она только просила и плакала, плакала и просила, и они добрели на глазах.

— Нет, не все еще потеряно.

— Да, она очень искренна.

— Что вы хотите — девчонка. Взяла по глупости, как ребенок игрушку.

— Страдает.

— Можно взять на поруки. Как вы считаете?

— Тишина! — Антонина Кондратьевна постучала по столу. — Выбери, Анисимова, какой суд тебя устраивает, народный или наш, товарищеский.

— Ва-ваш, — захлебываясь в слезах, проговорила Галя.

— Как, товарищи, поступим? — обратилась к педагогам директриса. — Перед нами факт хищения общественных денег, однако признание было добровольное.

— Ученье, — сказала математичка Зоя Леонтьевна.

— Простить, — вздохнула литераторша Прасковья Ивановна.

— Наказать, чтоб запомнила, — предложила историчка Анна Петровна.

— Аля, выведи подсудимую в коридор, — распорядилась Царь-Кондратьевна.

Дрожащая Галя и тихо торжествующая Аля вышли. Алла закрыла дверь комнаты, где совещались старшие, и яростно потрясла перед покрасневшим Галиным носом очень крепким кулачком.

— У, зануда! Моя бы воля — сдала бы в милицию, и пусть она сажает в тюрьму.

— Не надо, — всхлипывала преступница. — Что угодно, только не в милицию.

Совещание закончилось быстро, поскольку не возникло ни прений, ни сомнений. Антонина Кондратьевна велела войти и запретить дверь на крючок. Галя, робко всхлипывая, осталась у порога, глядя, как математичка и историчка деловито очищают длинный канцелярский стол. Когда все было готово, директриса коротко пояснила, сколь безнравственно воровство, а в заключение сказала:

— По закону тебя следовало бы направить в исправительную колонию. Однако учитывая твоё прилежание, молодость и, главное, то, что ты сразу же созналась в преступлении, мы сочли возможным ограничиться домашним наказанием. Ты согласна на домашнее наказание, Анисимова?

— С-согласна.

— Тогда ложись на стол и подними халат. Каждая нанесет тебе десять ударов деревянной линейкой.

— Плашмя, — уточнила историчка. — Это символическое наказание.

Галя с торопливой готовностью кивала на каждое сказанное слово. Ее трясло, тошнило, дрожали руки и коленки; она безропотно взошла на лобное место и завернула халатик на голову. А директриса взяла длинную линейку, по которой они обрезали обоим.

— Пусть штаны снимет, — потребовала Алла.

— Нет!.. — в ужасе закричала Галя, схватившись двумя руками за резинку беленьких трусиков. — Нет, нет, пожалуйста, нет!..

— Давайте все же через трусы, — вздохнула литераторша. — Так будет гуманнее.

— Через трусы, — решила Царь-Кондратьевна и, прицелившись, влепила первый удар по туго обтянутым белым трикотажем маленьким, еще детским ягодицам. — Раз. Два. Три. Четыре...

Считали почему-то все, но шепотом, внимательно и серьезно глядя, как поднимается линейка над вздрагивающим телом, и как смачно впечатывается она в тугой девичий задик. Директрису сменила историчка, историчку — литераторша, но били не больно, а как бы даже покровительственно, по-матерински, особенно гуманная Прасковья Ивановна. Но Галя все равно резко вздрагивала от каждого удара, ждала его, напрыгавшись до ломоты, будто били ее не по мягкому месту, не по-свойски, а будто кнутом. Будто на площади, раздетую и прилюдно. Будто не по телу даже били, а по чему-то тайному, спрятанному в глубине этого тела и принадлежащему Гале больше, чем само ее тело. В этом заключалась какая-то мистика, но Гале некогда было разбираться, несмотря на пустяшные удары: только вредная Алка врзала от всей своей физкультурной души, а напоследок — ребром, перехватив линейку в воздухе. Галя вскрикнула, а Алла расхохоталась:

— Все!

Галя поспешно опустила халат и слезла с эшафота. Она стеснялась поднять глаза, но все женщины тут же окружили ее, стали утешать, а математичка Зоя Леонтьевна угостила шоколадкой. Только Алла сразу ушла работать: мол, и так время потеряли. А потом и все пошли за нею и работали очень дружно, а под конец даже запели, и Галя несмело подпевала. Все оказалось сразу же забытым, и, хотя Гале до слез было жалко мамины сто рублей, она считала, что поступила правильно. «Ну что же делать, раз так вышло, — думала она, старательно помогая всем, кто просил и кто не просил. — Зато меня все теперь жалеют, а потом и любят. А гордышек никогда не любят ни в одном коллективе. И все уже кончилось, все страхи позади...»

Страхи и вправду были позади, но все кончилось не совсем так, как представлялось Гале, и об истинном конце знала одна Антонина Кондратьевна. Вечером того же дня, снимая перед сном увесистые потайные доспехи, в глубокой чаше лифа она обнаружила промокшие от пота сто рублей. Четыре купюры по двадцать пять.

— Господи, когда же это я их туда засунула? — обалдело, в голос сказала она, рыхло опускаясь за заскрипевшую кровать.

— Ты меня? — крикнул из другой комнаты муж.

— Нет, нет, это я так!

Антонина Кондратьевна не спала до рассвета. Вздыхала, ворочалась, мешая спать мужу. Ее глодала одна мысль: когда же она сунула эти несчастные деньги в свой объемистый бюстгальтер?

Это представлялось самым главным: казалось, что стоит вспомнить, когда же она, аккуратно сложив пополам, заправляла купюры за вырез платья, как все остальное осветится каким-то особым светом. Но она так и не смогла ничего припомнить. Ну, решительно ничего, вот кошмар!

К утру она кое-как успокоилась и поняла, что ни одна живая душа не должна знать об этом деле: авторитет директора школы диктовал лишь одно решение. И как только она приняла его, так тут же подумала, что совет мужу насчет премии и купит лично себе люстру с блестящими звонкими подвесками.

Галя имела все основания считать себя прозорливой, ибо сама директриса, сама Царь-Кондратьевна очень ее полюбила. Строго-настрога запретила говорить о товарищеском суде («Кто проболтается, выгоню! Ты слышала, Алла?»), поддерживала советами, опекала, и угощала сладеньким, и даже один раз пригласила к себе отметить приобретение очень красивой люстры. А когда начался учебный год, помогла составить план занятий и лично присутствовала на ее первом уроке.

Только вот сапожек Галя так и не купила, и зиму пробегала в туфлях. До школы еще ничего, а по средам и пятницам, прямо скажем, трудно. Надо большую выдержку иметь, силу воли и характер. И Галя очень гордилась собой.

1981

## «ХОЛОДНО, ХОЛОДНО...»

Издалека донесся глухой натужный стон. Он рос, выравнивался, наполнялся мощью, постепенно перерождаясь в строгий, выверенный рев сотен лошадиных сил. Тяжко задрожала земля, с придорожных елей посыпались иглы, смолкли птицы и звери, и из тумана показалась машина. Она не рвалась вперед, пожирая километры, не вздыхала, похрустывая от перегрузки, — она надвигалась солидно и неотвратно, точно была явлением стихии, а не результатом человеческого труда. Тупое широкое рыло равнодушно взирало на мир зарешеченными глазницами фар, кабина напоминала кафе, а за нею вырисовывалось огромное сооружение без окон и продухов, выкрашенное сверкающей серебристой краской.

Это был всего-навсего гигантский холодильник, а как-то не верилось, что такое чудовище может быть предназначено для мирной перевозки продуктов. Скорее можно было предположить, что это передвижная бойня, что в него не грузят замороженные туши, а сами туши, еще живые, теплые, еще умеющие страдать и бояться смерти, покорно идут в оцинкованное нутро, едва переступая дрожащими от ужаса ногами...

Рефрижератор показался из плотного мокрого тумана хмурым октябрьским вечером на пустынном шоссе. Машина двигалась неспешно, держась ближе к осевой линии, но сразу притерлась к правой обочине, как только одинокий пешеход неуверенно поднял руку. Это был солдат-первогодок в выгоревшем за лето мятом мундире. На обветренном лице кое-где и кое-как рос белый пушок, светлые глаза смотрели сквозь толстые очки с юношеской готовностью.

— Защитникам отечества! — весело приветствовал солдата шофер. — Далеко собрался?

— До Михеева не подвезете?

— Садись.

Солдат живо взобрался на высокую подножку. Глянул на водителя, улыбнулся виновато:

— Знаете, у меня денег нет.

— Обижаешь. — Хлопнула дверца, заурчал, наращивая обороты, мотор. — Я так считаю, что дорога вообще должна быть бесплатной. А я еще и по соседу стосковался: напарника моего аппендицит прихватил. Ну, сняли с рейса в больницу, вот шесть сотен кеме один и пилю. С непривычки петъ начал, чтоб не заснуть. Напарник у меня — мировой мужик, мы с ним на этом крокодиле, считай, пол-Европы изъездили. А знаешь, где человека легче всего проверить? За кордоном, усек? Если он дерьмо, так там сразу себя проявит. Жлобиться станет, пенензы считать, на спичках экономить — я таких не люблю. Надо все в меру, так, что ли? И напарник мой в этом плане в полном порядке. А в рейсе, я тебе прямо скажу, хорошо, когда справа от тебя стоящий мужик сидит: мало ли что может случиться. Усек, солдат?

— Да, да, конечно. Вы правы.

Шофер был приветлив и добродушно словоохотлив; солдат поддакивал, но слушал вполуха. Он осторожно, искоса, но очень внимательно разглядывал водителя, и водитель нравился ему: сильный, уверенный в себе бывалый человек с кажущейся небрежностью вел тяжелую машину, и она покорно подчинялась каждому его движению. Юноша умилялся сноровке мастера, не подозревая, что сам он вызвал в мастере как раз обратные чувства. Шоферу не понравилось в солдате все: и толстые стекла очков, и беспомощные близорукие глаза, и мятый мундир, и сутуловатая, совсем не военная фигура. «Защитничек, — презрительно отметил он про себя. — Маменькин сынок, сразу видать». Но спросил вполне благожелательно:

— Мама, поди, тоже в очках?

— В очках, — почему-то обрадовался солдат. — Она библиотекой заведует.

— А папа?

— Не знаю, — суховато сказал пассажир. — Он бросил нас. Давно, я его не помню.

— Да, поездил я по Европам, поездил, — начал вдруг шофер, неуклюже пытаясь сгладить возникшую неловкость. — Сперва-то я на маршруте Варшава — Москва работал, а сейчас на длинный, на Афины — Стокгольм перешел. Маршрут правильный: дороги отличные — раз, стран побольше — два. У меня в Афинах приятель, в Стокгольме приятель: нормально живут, добротно. Я им сувенирчик, они мне сувенирчик. Юрген и Христо. Хорошие ребята, а пониманием, сами шофера-дальнерейсовики: сутки дома, семь — в пути. Да. Пятый год на сухомятке, а брюхо еще держится. У всех моих корешей язвы — ну, впалку! — а у меня — тьфу, тьфу! У меня докторишко знакомый, точнее даже — родственник. Ну, родня родней, а сувенирчик сувенирчиком, точно? Все-таки заграничье — это возможности. Вот он меня и научил: первое, говорит, режим, второе — термос. Да не с чаем, там, не с кофе: с бульончиком, усек? И я в полном порядке, и он в полном порядке: сигареты «Кент» не переводятся. Да, режим — это главное дело... Во, как раз наше время. Ты как, солдат, насчет перекусона? Солдат спит — служба идет, солдат ест — служба бежит, так, что ли?

— Спасибо, я сыт.

— Ладно, помалкивай, дорога дружбой держится. А с солдатом куском не поделиться — это, брат, не по-нашенски, не по-рабочему.

Говоря без умолку, шофер плавно причалил к обочине. Вылез, обошел машину, привычно пнул ногой в скаты, проверил пломбы на воротах холодильной камеры. Солдат терпеливо ждал в кабине.

— У меня тоже вроде как служба, — сказал водитель, взбираясь на место. — Я ведь не только рулило, я еще и охранник. Немного, правда, в этот рейс мяса, но и за ним надо приглядывать, верно, солдат?

Солдат издал нечто среднее между смешком и покашливанием. Он был застенчив, предпочитал помалкивать и всегда соглашался.

— Сейчас свет включим, терпеть не могу в темноте жевать. Вроде как сам от себя тайком.

Зажглась лампочка, и случайные попутчики смогли впервые как следует рассмотреть друг друга. Солдат оказался совсем неказистым: худым, длинношеим, узкоплечим и чересчур уж тихим. А добродушно-болтливый шофер выглядел довольным жизнью здоровяком, любившим, вероятно, вкусно поесть, сладко поспать и уютно поковыряться в какой-нибудь несложной домашней технике. И если в солдате чувствовалось неумение быстро завязывать знакомства, то водитель, наоборот, был чрезвычайно общителен. Они были противоположностью, но противоположностью, не дополняющей друг друга, а как бы вычитающей что-то. И поэтому разговор не вязался, несмотря на общую трапезу.

— Ешь, ешь, нажимай, — скорее уже по привычке угощал водителем. — Солдату всегда жрать охота, по себе помню.

— Мне, знаете, хватает в армии.

— Хватает? — Шофер покосился. — В институт, что ли, срезался?

— Я вообще не сдавал.  
— Что ж так? Хлипкий ты для рабочего человека. Тебе в интеллигенцию надо.

— Я в Суриковское хочу,— нехотя признался солдат.

— Кого же из него выпускают?

— Там живописи учат. И ваянию.

— Живописи...— разочарованно повторил водитель.— А что же не сдавал, если живописи хочешь?

— Как вам сказать?— Солдат помолчал.— Чтобы творить, надо многое знать. Не из книжек, а из жизни. Я, например, Попкова люблю: вот он знал, что писал.

— Кто такой?

— Виктор Попков. Художник.

— Художник,— протянул шофер.— От слова «худо», так, что ли? Да ты пей кофе, пей.

— Спасибо, не хочется. Вы как-то нехорошо сказали про Попкова. А он серьезный художник, большой. И нет его уже, погиб.

— Да пустое это все,— проворчал шофер, убирая еду.— Художники, живописи. Сейчас техника все решает. Я, например, слайды уважаю, а пленку — нормальный «кодак», заметь,— за кордоном беру. Кто — шмутье, а я — пленку. Классная пленочка! Выбрал видок, щелкнул — ну и какая живопись сравняется? Видел я этих художников: сидят целый день, срисовывают, срисовывают, а я щелк — и пожалуйста.

— Вы не правы.— Солдат сердито поправил очки и начал краснеть.— Вы совершенно, абсолютно не правы сейчас, извините.

— Что-то больно ты вежливый: извиняюсь да извиняюсь. Ты с рабочим человеком говоришь, нечего вежливостью пугать. Крой правду-матку: она и есть самая вежливая.

— Извините, я так не умею, но относительно вашей идеи заменить живопись слайдами все же скажу. Это очень наивное мнение, что художник пишет натуру, как она есть. Это как раз слайды копируют природу, а живопись никогда копированием не занималась и...

— Ладно, живопись—это к примеру, не заводишь. Искусство служит народу, слышал? Я с работы прихожу, так ты мне отдохнуть дай, отвлеки, юморок там, Леонова или Райкина. А то мы вкалываем, как звери, а артисты эти для себя всякие трагедии в постановках разыгрывают. Знаешь, как это называется? Это называется искусство для искусства, усек?

— Извините, искусство для искусства — это же совсем иное. Это...

— Ну, будет, будет тебе баллон на меня катить,— решительно перебил шофер.— Я ведь просто так сказал, со своей точки.

Разговор вел к взаимному охлаждению, а впереди ждала дорога, и старший первым забил отбой:

— Лучше расскажи, из-за кого в самоволку сорвался.



Солдат, строго нахмуренный, уже изготовившийся для спора, заулыбался всем лицом, как улыбаются в любви и в детстве.

— А как вы угадали, что я в самоволке?

— А я, брат Штирлиц,— засмеялся шофер.— Мундирчик на тебе хреноватый, в таком через капепе не выпустят. Так или не так?

— В общем, так. Знаете, удивительное сочетание обстоятельств: штаб считает, что я — в роте, а рота — что я в штабе лозунги к Октябрьским пишу. Раньше двух дней ни за что не хватятся, а я за это время Наташку повидаю и назад.

— Вот, значит, из-за кого солдаты через забор сигают,— усмехнулся водитель.— «Вы служите, мы вас пождем», так, что ли?

— Ну, как сказать,— засмутился солдат.— В общем, в школе учились вместе. Она способная девчонка, в медицинский с ходу поступила, а их курс как раз в Михнево на картошку послали. То-то удивится!

— Точно! — Водитель вздохнул.— У меня тоже Наташка. Дочка. В прошлом году школу кончила да так без дела и болтается. Дурная молодежь пошла.

— Извините, а зачем же вы обобщаете? Молодежь разная.

— Разная? — Шофер покрутил головой.— Один кричит: неси, неси! Второй: вези, вези! Вот и вся разница. Я за кордоном воды стакан выпить не решаюсь, а ей все мало.

— Кому — ей? Молодежи?

— Ладно, кончили! — жестко отрубил шофер.— Все вы хороши, когда вам тряпки понадобятся.

Взревел мотор, машина плавно отвалила от обочины, расстилая в густевшем тумане шлейф черного дыма. Она шла легко, играючи, подрагивая от избытка клокочущих в ней сил. А люди недружелюбно молчали, уже жалея, что судьба свела их на этой дороге.

— Хороший автомобиль,— неуверенно похвалил солдат только для того, чтобы хоть что-то сказать.

— Да, класс,— без особого энтузиазма отозвался шофер.

И опять нависло молчание. Уютно урчал мотор, чуть покачивались сиденья, веяло расслабляющим теплом.

— А вы часто за границей бываете?

Солдату было не очень интересно, часто ли бывает шофер за границей: просто он испытывал большое неудобство от молчания и считал себя виноватым. И неожиданно вопрос его попал в точку: водитель довольнo заулыбался, вновь благосклонно поглядев на пассажира.

— По графику положено два раза в месяц. Ну, я подсчитал, прикинул возможности и предложил встречный план за счет увеличения средней скорости и сокращения стоянок. Приняли, назвали почином, и теперь за кордоном я уже три раза в месяц буду бывать. Вот так, усек? Не покумекаешь — не подработаешь.

— Вы не шутите? — Солдат недоверчиво посмотрел на него.— Знаете, я первый раз живого инициатора вижу, не обижайтесь, пожалуйста.

Вы, можно сказать, тот самый положительный герой, которого я изучать должен, если хочу всерьез живописью заняться. А я хочу, потому что это не детское увлечение, а мечта всей жизни.

Юная горячность пассажира понравилась водителю. Он был человеком отходчивым и с готовностью откликнулся:

— Изучай, дело хорошее. Я тебе так скажу, что дураков много кругом. Болтают: за границей, мол, заработок. Ну, заработок — это точно, только за этот заработок там такую работенку требуют, что и лоб не утрешь. А наши крикуны о чем мечтают? О том, чтоб работать как при социализме, а получать как при капитализме. Нет, милый друг, хочешь хорошо получать — хорошо и повкалывай, так, что ли?

— Абсолютно с вами согласен! — с комсомольской готовностью подтвердил солдат.

— Раньше-то и я дураком был: искал, как бы словчить, — с удовольствием продолжал шофер. — А потом понял: самое выгодное — это нормально работать. Ну, сперва, конечно, пришлось повкалывать, поработать на авторитет: перевыполнял, соревновался, на собраниях не отмалчивался, как некоторые, по общественной линии тоже. Трудный был период, ничего не скажу, зато теперь полный порядочек. Теперь авторитет на меня работает, усек?

Говорил он с таким самодовольством, что солдату стало не по себе. Наивный энтузиазм его таил с каждой фразой собеседника, но юноша из деликатности изо всех сил улыбался.

— Да, конечно, конечно.

— И все нормально. Кому премия? Кому квартиру без очереди? Между прочим, на троих трехкомнатную дали, представляешь? Кому путевку на курорт, когда захочу? Обратно мне. И рейсы, заметь, я сам выбираю, и почин этот опять же. И им выгодно, и мне выгодно: на этом почине я полтора оклада буду иметь и, главное, дополнительную валюту, усек? В какой за границе ты такие блага получишь? Да ни в какой, ответственно тебе говорю. А что от меня требуется? Нормально работать да мораль соблюдать. Ну, там, не опаздывать, не халтурить, не пить, с женой, к примеру, чтоб все путем. Я все соблюдаю, и я главной директора: тот место боится потерять, а я ни хрена не боюсь. Я — представитель рабочего класса, усек? Вот кем надо быть — представителем.

— Трудно, наверно.

— Да чего там! Конечно, сорваться боязно: среди представителей тоже, знаешь, конкурс. Как чуть оступился, так сразу шансы получишь навывлет просквозить. Народ злой стал, завистливый...

И опять между ними точно кошка мелькнула: солдат замкнулся, наспулился, даже голову в плечи втянул. Его угнетали развязные откровения шофера: он считал его очень глупым, втайне удивляясь, как такого терпят на работе. А между тем водитель был далеко не глуп: он прошел превосходную школу и точно знал, с кем надо помолчать, кому — поддакнуть, а кого и анекдотом развеселить. Перед случайным попутчиком,

который через полчаса сойдет с машины, не имело смысла играть. А вот похвастать перед ним умением жить, преподавать, так сказать, урок хотелось, ибо его собственная дочь подобных уроков не выносила и тут же кричала: «Заткнись!» И в этом разговоре водитель брал реванш и за отбившуюся от рук дочь, и за пренебрежение коллег, и за всю очкастую, хилую никчемную интеллигенцию, которая куда чаще ставила трагедии для себя, чем комедии для него.

Однако даже сейчас, туманным октябрьским вечером, в разговоре со случайным попутчиком на пустынном шоссе шофер осторожничал. Роль, избранная им, — роль энтузиаста-передовика, целиком и полностью разделяющего мнение начальства еще до того, как начальство само сформулирует это мнение, — требовала высшей дипломатии, иезуитского притворства и крысиной приспособляемости. Он давно уже выдрессировал самого себя, привыкнув не только слышать каждое свое слово, но и по-звериному чувствовать, как это слово воспринимает собеседник. И поэтому, чутко ощущая растущее неприятие солдата и получая от самоутверждения сладчайшее удовлетворение, не зарывался.

— Вообще-то я, конечно, гущаю, усек? Коллектив у нас здоровый, как говорится. Вон по спорту все призы взяли, я сам золотой значок имею. Ты спортом-то увлекаешься?

— Не очень, знаете, — нехотя признался солдат. — Правда, если международная встреча, то я смотрю.

— Болееешь, значит?

— Болею. За наших.

— А я — за «Спартак». Но и сам занимаюсь. Спорт, он очень полезный и в смысле здоровья, и для самообороны. Лет десять назад случай был. Иду я вечером с работы и — трое под банкой. Дай закурить, то да се, ну, и накидали мне полное рыло. Думаешь, защитил кто? Какое! Вот с той поры я и понял, что за меня только один человек может вступиться: я сам. Самбо изучил, штангу регулярно толкаю, зарядка каждый день. И — в форме: кто ко мне сейчас сунется и кто мне мои сорок семь даст? Не курю, выпиваю только по праздничкам, режимчик и — нормальный вид. Так что зря ты этим пренебрегаешь. Поверь, зря.

— Возможно. — Солдат пожал плечами. — Мама говорит, что сейчас все о теле заботятся, а о душе забыли. А прежде о душе больше думали.

— Чего?.. — Шофер с искренним изумлением уставился на пассажира. — Да ты никак сектант, что ли? Что ты мелешь, какая душа...

Машина не ощутила сопротивления, не вздрогнув, не звякнув; солдат ничего не расслышал, и только водитель опытным ухом и чуть дернувшимся рулем уловил неладное. И сразу нажал на тормоз.

Вылез, хлопнув дверцей. Ровно урчал на холостых оборотах мотор. Солдат выглянул, но на пустынной, затянутой туманом дороге никого не было. Спрыгнул на асфальт, поеживаясь от пронзительной сырости.

— Где вы? Что-нибудь случилось?

Никто не отозвался, и звуков никаких не слышалось, только работал двигатель да по козырьку фуражки щелкали редкие и тяжелые дождевые капли. Солдат постоял, послушал и пошел вдоль огромного серебристого чрева рефрижератора. Обогнул его и в нескольких шагах на шоссе увидел размытую туманом фигуру.

— Вот вы где! Я уж думал...

И замолчал: на мокром асфальте у ног водителя неподвижно лежала девушка в светлом плаще. Рядом ручкой вверх валялся пестрый складной зонтик, чуть раскачиваясь то ли от ветра, то ли еще по инерции.

— Что с ней?

— Что?..— испуганно переспросил шофер.— Я не видел ее, не видел. Туман, ни хрена не видно. Я на тебя глядел, подонок ты, сволота, гад...

— Она... Она дышит,— солдат стал на колени рядом с девушкой, не решаясь прикоснуться.— Она жива, она без сознания просто!— Он вскочил в крайнем возбуждении, в стремлении что-то делать, куда-то бежать, звать на помощь.— Ее надо в больницу. Немедленно в больницу, слышите?

— В больницу?— Водитель все еще находился в растерянности.— Да, да, в больницу. А никого нет. Нет ведь никого.

— Так сами же и отвезем!— Солдат суетился, бегал вокруг девушки, дергал шофера за куртку.— Сами, сами отвезем, понимаете?

— Да. Сами. Сами отвезем,— бормотал шофер.— В машину. В машину ее. Берись.

Они подняли девушку, неуклюже семеня и толкая друг друга, понесли к рефрижератору. У тупого, вагонного зада водитель остановился.

— Клади. Клади, говорю!

Растерянность его прошла, как только появилось действие. И действовал он быстро, точно зная, что должен делать. Они опустили девушку на дорогу, шофер сорвал пломбы, распахнул тяжелые ворота холодильной камеры. Внутри вспыхнула лампочка, нестерпимо ярко отразившись в ослепительно белых стенах.

— Бери. За ноги ее, ну!

— Зачем?..— со страхом спросил солдат, увидев мороженые туши и ощутив ледяной выдох холодильника.— Сюда нельзя, нельзя! Надо к вам в кабину, там диван, я видел...

— Дурак. Дурак ты.— Водитель зачем-то схватил его за мундир, за тряс.— Она же померет в кабине. Кровью изойдет, усек? А здесь прохлада, врачи всегда травмы замораживают, видел по телевизору? Бери, ну? Бери же.

Они опять подняли девушку, положили на розовые стелы глыбы мяса. В ярком свете солдат видел ее мертвенно-белое лицо, залитое кровью платье, рассыпавшиеся волосы.

— Нельзя ей здесь, — приглушенным шепотом сказал он, и в голосе его послышалось готовое взорваться отчаяние. — Это мертвых замораживают, а не живых. Мертвых!

— А мы не виноваты, не виноваты! — вдруг истерически закричал шофер. — Это она во всем виновата, она! — Он бил машину кулаками, пинал, плевал на нее: — Сволочь! Гадина! Падла!..

Потом утомился. Стоял, упершись лбом в мокрую стену холодильника, громко всхлипывал, вздрагивая всем телом.

— Ехать надо, — сказал солдат. — Ну, что вы? Ну, будет вам, будет. Надо ее спасти. Спасать, слышите?

Водитель глубоко вздохнул, вытер ладонями лицо. Посмотрел на неподвижную девушку, старательно оправил сбившуюся на коленях юбку.

— Садись.

Захлопнул дверь камеры, задвинул засовы, сгорбившись, прошел на место. Не глядя на солдата, включил передачу.

— Тут больница должна быть. Недалеко тут.

Он разгонял машину, не щадя двигателя, точно бежал с того места, где тупое рыло рефрижератора зацепило ненароком идущую по шоссе девушку. Видно, пожалела туфельки, не захотела месить грязь на обочине. А тут туман и дождь в лицо, и зонт, которым загромождалась она от дождя и из-за которого не видела дороги. Только ведь не объяснишь же все это суду, ничего не расскажешь и ничего не докажешь. Одно мгновение, миг один, и не вернуть его, не переиграть, не исправить. Господи, почему же тебя нету? Не знаю, что бы отдал, только бы не было этого беспомощного тела на пустынном шоссе. Полжизни отдал бы. Полжизни...

Ехали молча, уставившись в прорезанную лучами фар призрачную мглу за ветровым стеклом. Выл, захлебываясь, мотор, машину било на невидимых ухабах, и при каждом толчке солдат судорожно жмурился, ясно представляя, как подпрыгивает на каменных заледенелых тушах беспомощное девичье тело. Но от того, что он жмурился, видения не исчезали, а шофер гнал и гнал, и все ревели сейчас в кабине. «Надо сказать, что нельзя ей там, — лихорадочно думал солдат. — Надо остановить, потребовать...» И ничего не говорил, не требовал, а лишь изо всех сил зажмуривал глаза...

— Я сойду! — не выдержав, крикнул он неожиданно для самого себя. — Остановите. Остановите.

— Тебе в Михнево, — не глядя, буркнул шофер. — Рано еще. Сиди.

— А ее куда? Куда? Там же холодно. Холодно там, понимаете?

— В поликлинику, — тупо бормотал водитель. — В поликлинике тепло, врачи. Скоро должен быть, я знаю. Травмопункт.

Солдат заплакал. Он плакал по-детски, сняв запотевшие очки и ладонями размазывая слезы. Плакал от ужаса, от не оставляющего его ви-

дения нежного тела на мороженом мясе, от беспомощности и жалости. И за слезами не заметил, как стих мотор и остановилась машина.

— Ну, чего ты, чего?— Водитель потряс его за плечи.— Утрись-ка. Страшно? Ну, тогда иди. Иди. Я сам ее сдам. Один. Иди.

Солдат глубоко вздохнул, достал платок, долго сморкался, шепча что-то. Водитель сидел молча, уронив голову на скрещенные на руле руки.

— Холодно ей там. Холодно.

— Иди.— Шофер поднял голову, уставив на солдата странно отрешенный взгляд.— Иди, говорю.

— Да, да.— Солдат суетливо запихивал в карман платок.— Я пойду. Я сейчас.

Он вылезал боком, нащупывая рукой выход и не решаясь оторвать глаз от тяжелого, оплывшего лица водителя. Выбравшись на шоссе, не захлопнул дверцы, а начал пятиться от машины, беспрестанно повторяя:

— Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам. До свидания.

Вдруг повернулся и побежал, не оглядываясь, втянув голову в узкие плечи. И сразу же закричал. Закричал еще до того, как шофер выпрыгнул из кабины.

Так они и бежали по шоссе, оставив позади приглушенно пофыркивающую машину с девушкой за двойными стенами холодильной камеры. Солдат кричал непрерывно, кричал не слова, а сам крик: «А-а-а!..» Кричал в смертельной тоске, уже ничего не соображая. А шофер бежал молча, и, заслышав его грузный топот за спиной, солдат сам упал на обочину.

— Зачем же ты побежал, дурачок? Зачем? Ах, дурачок, дурачок...

Шофер взял солдата за плечи, проволоком по грязи и рывком сбросил в переполненный водой кювет. Солдат попытался встать, забился, и они оба оказались в воде. Но водитель был посильнее и потяжелее: пригнул солдата, запихал под воду, навалился. Обождал, когда с бульканьем выйдет воздух, когда окончательно перестанет содрогаться тело, и выбрался на шоссе.

— Ты зачем побежал? — задыхаясь, бормотал он.— Ты настучать на меня побежал? Ах ты, дурачок, дурачок...

Солдат лежал на дне кювета, настолько мелкого, что из воды торчал обтянутый потертыми брюками худой мальчишеский зад, а носки сапог упирались в обочину. Беспрестанно бормоча, водитель снял башмаки, вылил из них воду, кое-как отжал мокрые штанины.

— Сейчас подружку тебе рядом положу. Под бочок, чтоб не скучно.

Носком толкнул в воду отлетевшую фуражку, тяжело шаркая мокрыми ботинками, пошел к машине. Постоял у кормы, осмотрелся, прислушался и распахнул двустворчатые ворота.

И обмер: на мороженных тушах сидела девушка, судорожно кутаясь в перепачканный плащ. Синие губы ее мелко дрожали.

— Х-холодно, — с трудом выговорила она. — Холодно, холодно, холодно.

Шофер с грохотом захлопнул створки ворот. Придавил всем телом, точно ожидая, что изнутри вот-вот начнут ломиться.

— Ы-ых!...

Никто не ломился в тяжелые ворота, и в холодильнике было глухо, как в склепе. Шофер обождал немного, торопливо, сбивая в кровь руки, вогнал штыри в пазы затворов, тяжело, со стоном выдохнул. Постоял, долго и настороженно вслушиваясь в туман. Пустынно и тихо было на дороге.

Шофер еще раз осмотрел запоры, медленно побрел вдоль кювета. Остановился возле мертвого солдата, долго тупо смотрел на него. Потом громко икнул и прошел на свое место. Хлопнула дверца.

Взревел мотор, и огромная серебристая машина, набирая скорость, скрылась в густых октябрьских сумерках. И только рев сотен лошадиных сил долго еще доносился из тумана, все слабее, переходя в стон и наконец замолкнув навсегда.

1984 г.

## КОРРИДА В БОЛЬШОМ ПОРЯДКЕ

### (БОЛЬНИЧНЫЙ РАССКАЗ)

Что это вы все так слепо телевидению верите? Ах, по телевизору то-то сказали, ох, по телевизору то-то показали... А вот однажды по этому самому телевизору объявили, будто быку что красное, что черное — все едино, лишь бы оно двигалось. Ну так ерунда это, псевдотеория, а практика — вот она, эта коесчка, и я при ней. По теории-то я через два месяца священный долг должен исполнять, а на практике что вышло? А вышло то, что я в семнадцать лет десятилетку закончил, на экзаменах в институт срезался, и мама меня в деревню отправила к дальним родственникам. И оказался я в Большом Порядке.

Но сперва поясню, а то еще не так поймете. Большой Порядок — это так село наше называется. Когда-то два порядка были — Большой Порядок и Малый Порядок. Ну, Малый долго не продержался: родственник рассказывал, что продавщица там глупая попалась. За трезвость боролась в те еще времена, когда все чувство законной гордости испытывали. Ну и, конечно, упустила весь Малый Порядок. Разбежался он по иным точкам, и частично к нам, в Большой. И с того времени во всей округе остался только Большой Порядок, а на месте Малого один бурьян да крапива под два метра.

Между прочим, на первой моей работе — меня для начала в мастерские определили — говорили, что от крапивы тоже балдеют, как от мака или конопли. Если, говорили, в баньке как следует напариться, а потом вместо озера голым в крапиву сигануть — сильное средство. Чумеешь и вырубашься. Конечно, сейчас разные способы испытывают, так что удивляться нечему. У нас в мастерских один испытатель ведро из-под мазута на голову, бывало, напаялит и ходит часов пять, как пес-рыцарь. Потом падает и — балда балдой. Я лично убежден был, что не столько от мазута, сколько от грохота, но доказать не успел: меня в пастухи перевели. Мама, видите ли, решила, что я должен укреплять свое здоровье перед армией, и упросила нашего председателя перевести меня на природу. Тут еще родственничек наш помог, Сергей Владимирович — ну, о нем разговор особый — и меня перекинули на скотину.

Это все как-то быстро произошло, и мне пришлось опыт насчет влияния грохота на организм ставить в коровьем обществе. И я его осуществил, и могу смело поспорить кое с кем. Я нормальное ржавое, правда, ведро надел и пошел коров пасти. Ну, что сказать? Во-первых, конечно, жарница, как в домне, а во-вторых, всякий звук возрастает в немыслимой степени. Овод в железо врежется, а у тебя — шары из глаз. Но я терпел ради опыта, пока на корову не налетел. А она мне — хвостом по кумполу. А на кумполе — ржавое ведро. Так я вам скажу, что никакого наркотика мне не потребовалось: я сразу свой кайф поймал и минут сорок из него не вылезал. Не мог никак, ведро сильно погнулось.

Ну я же не про то, не про кайф. Я про быков теперь теорию оспариваю, потому что имею все основания, исходя из практики. И когда мне официально по телевизору мозги пудрят, что быку, мол, что красное, что белое — без разницы, что нету у него в глазах каких-то колбочек, а потому на цвет он и не реагирует, я это опровергаю всей своей искалеченной ногой.

А дело было так. Когда я, значит, опыт с ведром ставил, а корова мне его хвостом погнула, я, конечно, лег. Минут тридцать пять полежал в густой траве и балдении, а потом малость в себя вернулся и начал это погнутое ведро с башки свинчивать. В нем от коровьего удара вроде как резба образовалась и направляющую оно уже никак не слезало. А в какую сторону вертеть, чтоб себя самого отвинтить? Непонятно, вот я с этим ведром и ковыряюсь, как медведь, а в мозгах от кайфа гудит, мысли, как сметана, бултыхаются, и я сам себя до хрипа заворачиваю. То ли путаю, то ли резьбу сорвало, а только хреновое получается похмелье. Не знаю, сколько бы времени я под этим ведром балдел, как вдруг рванули его с моей головы вместе с куском кожи, и сразу посветлело в природе. Проморгался, а надо мной — наш председатель Валентин Лукьянович.

— Чего ты, говорит, Салагаев, ржавое ведро нацепил? От армии прячешься?



Ну, я ему обстоятельно стал объяснять про мужика, который пес-рыцарь и про свой опыт, которым я надеялся опровергнуть. Только это я разошелся, а он:

— А коровы твои где?

А коровы мои в рапсе. Не столько жрут, сколько топчут. Вскочил я, заорал, побегал, тоже рапсу потоптал, но — выгнал.

— Исправил, говорю, ошибку, Валентин Лукьянович.

Тут я должен сказать, что рапс этот нашему председателю навязали волевым решением, о чем он сам признался на общем собрании. Знаете, оно, конечно, перестройка, демократизация, гласность, но когда кому-то из поверхностных кукуруза понравится, вика с клевером или рапс — конец всякой демократии. Обязательно тебе эту монокультуру всучат, как бы ты ни брыкался. Вот нашему Валентину Лукьяновичу этот рапс и привязали к хвосту, как пустую банку собаке, и очень он с ним начал беспокоиться. Прямо аж зеленеет, когда с его навязанным рапсом какие-либо неполадки. И так мне говорит:

— А теперь, говорит, я исправлю свою ошибку и избавлю несчастную эту скотину от твоих дурацких экспериментов. Будешь числиться на временных работах, пока тебя какая-нибудь бригада к себе не пригласит. Хотя сомневаюсь, дураков в колхозе сильно ubyло в связи с новой системой оплаты.

Вот как оно все обернулось. Конечно, надо бы опыт не в рабочее время ставить, это я потом понял. Или хотя бы подальше от рапса. Или от председателя Валентина Лукьяновича. Но сделанного не воротить: сдал я свое орудие производства — это кнут, значит, — и отбыл на скамейку запасных «куда пошлют и что велят».

На той запасной со мною еще двое профессиональных алкашей маялись, Толик и Ван Саныч. Толику было под пятьдесят и знал он одной лишь думы власть: где бы перехватить стакашек. Можно даже неполный. Перехватив, выпивал с трепетом, чмокал и тут же погружался в небытие на ближайших восемь часов. А Ван Саныч был вдвое моложе, и, приняв дозу, не спал, а куда-либо мчался. Не куда-либо вообще, а туда, где больше юбок: в Правление, клуб, дискотеку, кружок вышивания или в магазин. Такая у него была потребность: повертеться. И вертелся, пока его не прогоняли.

Жуткая у меня началась полоса: ни друзей, ни плана, ни отдыха, ни зарплат. Один день чего-то закапываем, другой — его же откапываем. В голове пусто, в душе — тоска, в животе — равнодушие. Стоишь до обеда, на лопату опершись, и понимаешь, что ты потерял вместе с коровами. Свободу ты потерял, радужность мыслей и экологию окружающей среды. То есть все, что имел, о чем мечтал и чего ничего не делал.

Словом, совсем я изнемог на этой своей должности и с этими своими сотрудниками. Никто меня никуда не берет, но все посылают. И я постепенно постигаю, что так оно и будет всю оставшуюся жизнь, если я сам не приму мер. Мол, под лежачий камень... Все я взвесил,

прикинул, просчитал и решил идти в Правление и христом-богом молить, чтоб меня куда-нибудь.

А в Правлении Валентина Лукьяновича нет, но суеты навалом. Девчата красивые, глаза горят, чего-то пишут, репетируют, разучивают.

— Чего, говорю, девоньки, за радость такая? Или разом всю нашу армию демобилизовали?

— Глупости не болтай, говорят. Ишь чего захотел, пацифист зеленый. Нет, у нас мероприятие серьезное: через неделю нашему Валентину Лукьяновичу сорок стукнет, как одна копейка! Включайся, говорят, в инициативную группу, может, он тебе твое ржавое ведро простит.

Юбилей! Сорок годков! Инициативная группа! Ну, думаю, землекоп, пробил твой час. Если не уцепишься за секундную стрелку — копать тебе канавы вкупе с Толиком и Ван Санычем до собственной могилы. Включайся, сочиняй стишата, малой лозунги, разучивай трепака!..

Только хотел врубиться, да вовремя на девчат глянул. А они — хоть прикуривай. Хихикают да пируэты всякие — что тебе аэробика! Что тебе аэробика, когда Председателю — всего сорок, ровеснички девчат наших все сплошь в священном долге на два года, а остальные либо женатики, либо уже лунатики вроде того, чокнутого с ведром. Нет, думаю, девоньки, мне средь вашего макового цвета что конскому щавелю: несъедобен я для председательского глаза, а скорее даже наоборот. И сообразив, я тихо подался, а меня и не заметили.

Однако сорок лет. Добреет мужик в такой день, и если к нему с умом... Стоп, а где он, ум-то? Кто у нас в колхозе этим рудиментом похвастать может? Да зоотехник Сергей Владимирович, мой дальний родственничек, больше просто некому, хоть в соседнюю область беги.

Сергей Владимирович — человек исторический. Он всю нашу историю прожил, и ни разу его никуда не заносило. Лысенко с Мичуриным хвалить? Пожалуйста, со всех трибун, прилагательных не жалея. Вейсманистов-морганистов клеймить вкупе с низкопоклонством перед растленным Западом? Сколько угодно, на всех собраниях, снова прилагательных не щадя. Америку по молоку и мясу догонять? С полным нашим удовольствием. Квадратно-гнездовым сажать? Спасибо, что надоумили. Кукурузу на завоевание Заполярья? Правильно, давно пора. Совнархозы? Точно совершенно, как сами до этого недодумались. Не надо совнархозов? Точно совершенно, ну их... Коммунизм за двадцать лет? Навались, братцы, аккурат к Олимпиаде и откроем, Лысенко ругать? Да с радостью! Рапс организовывать, а Рапо сажать? Ах, наоборот! Простите старика, недослышал, но всегда готов. Всегда.

Вот каков был Сергей Владимирович. Всем очень нравился и все его награждали. При Сталине, при Хрущеве, при Брежневе всегда в пример ставили, как самого чуткого к прогрессу и политически активного товарища. И сейчас ставят тоже, хоть он малость что-то с чем-то путает, но человек нужный. Великий дока насчет всяких всякий. Раньше флюгера

направление показывает. И не стареет при этом. Беркутом на трибуну взлетает...

— Почему у нас, товарищи, сельское хозяйство все время падает? Потому оно падает, что мы его очень часто поднимаем. Поднимем, поддержим, сколько силенок хватит, в затылке почешем и обратно роняем. И так всю дорогу, весь тернистый путь. А те, которые там, на Диком Западе, те сельское свое хозяйство ни разу еще не поднимали. Оно у них до сих пор на земле стоит.

Вот какие речи он нам, трем землекопам, за свинофермой произносил. И стакан держал очень красиво. От плеча, как гусар.

— Так выпьем же за очередной подъем...

Ну, это, конечно, в узком кругу, со стаканом и без трибуны. А когда случилось наоборот, то и звучало в том же направлении:

— В свете новейших указаний нам всем стало ясно видно, дорогие товарищи, что старое название «дояр» есть полная абракадабра в век технического прогресса. Оператор машинного доения рогатого скота — вот что поднимет нас к новым высотам!..

Ну и в таком разрезе — еще минут двадцать, пока аудитория окончательно не обалдеет. Тогда замолкает, ему с радости — овацию, и он — опять на коне. Опять скачет вдоль истории и ни разу — поперек. Такой был уникальный человек. Пример селекционного отбора, как я всегда думал. Но выпить любил при всей своей селекции, а может, и благодаря ей. И тогда в благодарность давал дельные советы.

Ну, а где, спрашивается, эту самую благодарность раздобыть, если у нас год назад в Большом Порядке первый за всю историю Государства Российского трезвый сход был? И — со злости, что ли? — постановил: пьянству — бой. И Сергей наш Владимирович тут же на трибуну спланировал.

— Надоело, говорит, пьянство, товарищи! Правильно и очень даже своевременно указали нам, куда может завести нас пристрастие. В пропасть, у которой и дна нет, товарищи! Вот почему я категорически предлагаю с сей минуты начать строгую трезвую жизнь. Трезвость есть норма существования белковых тел! И я горячо призываю дорогих моих односельчан сдать милиции все ненужные самогонные аппараты. Покаемся, дорогие товарищи, и пусть земля горит под нашими ногами!

Покаялись. Сдали ненужные самогонные аппараты. Нужные оставили. Акт был добровольным, все умилялись, и сдатчиков металлолома показывали по телевидению. И позакрывали все питейные точки. Сперва возникла паника, но потом все само собой образовалось. Вместо двух гласных точек появилось восемь согласных: я, например, покупал нормальную казенную кашинского разлива исключительно по согласию в промтоварном магазине в отделе уцененной резиновой обуви.

Майя Ивановна продавала резиновые сапоги всем желающим, но всовывать в них следовало не ногу, а руку, и всяк получал то, что желал.

А сапог относил к служебному входу и клал его в ящик. И сапог тот таким образом вновь шел в дело, как упаковочный материал.

Нет, не подумайте, я не употребляю. Но, во-первых, учтите, что мои коллеги без стакана натошак и лопаты нащупать не могли, а во-вторых, возникают обстоятельства. Это у них — там, на Диком Западе — слышал я, День Благодарения один раз в году, а у нас почти что круглогодично. Тракторист участок под картошку вскопал — благодарение. Бригадир навозу подбросил — еще благодарение. А там — дрова, комбикорм, рассады да разная хозяйственная мелочишка — сплошные благодарения. Вот и бегают все к Майе Ивановне: «Майя Ивановна, кормилица, два резиновых сапога нормального размера». И — десятку за каждый, условно говоря, сапог. Ровнехонько десятку, без сдачи: плата за риск. Жить трезво стало веселее в основном продавцам, потому как остальные трезво жить давно уже разучились. Их нужно сорок лет по безводной пустыне водить, как Моисей евреев, чтобы они окончательно протрезвели, и то — сомневаюсь. И времена не те, и Моисея нету, и сорок лет, боюсь, мы уже не продержимся.

Ну, это так, отступление, чтобы было понятно, где я в условиях свирепой борьбы за всенародную трезвость пол-литра кашинской надыбал. Пароль: «У вас продается резиновый сапог?» Отзыв: «Размер обычный?» — потому что иногда бывает двойной. Редко, правда, в цене нынче обувка. Но за ценный совет я ничего не пожалею, а потому и потопал от Майи Ивановны к Сергею Владимировичу с кашинской у самого сердца.

— Кашинская — водка нашенская! — заорал исторический человек, потер руки и засуетился насчет закуски.

А я, признаться, приуныл. В мире, вспомнил вдруг, доллары вращаются, фунты, гульден, франки всякие. Вращаются вместе с иенами и лирами и все вокруг себя вращают. И все идет путем. Богатство и безработица, процветание и коррупция, благоденствие и преступность. Потому что есть вращение, от которого все работает. А у нас — никакого вращения. У нас коловращение, после которого единственная валюта наша вместе с бульканьем исчезает в трубах.

Пока я уныло размышлял о вращениях и коловращениях, Сергей Владимирович сотворил натюрморт. Русский, летний, конца двадцатого столетия — хлеб, соль, лук, да какая-то никому неведомая рыба в томате.

— Что за беда? — спросил Сергей Владимирович, с чувством выкушав первую стопочку.

Я излагаю, как на духу. И что в армию осенью, и что изгнан из патристского сословия в запостав «куда пошлют», и что сижу без доходов, и ем в кредит, и что, наконец, грядет сорокалетний юбилей, то есть, по моему разумению, время максимального доступа к сердцу. Пока я все это неторопливо рассказывал, Сергей Владимирович успел еще три столпара опрокинуть, несъедобную тварь в томате дочиста подскрести — и подобреть тоже успел.

— Жалко тебя до слез, говорит. Надо искать справедливость. Что больше всего уважают в сорок лет?

А черт их знает, что они, сорокалетние то есть, уважают. Может, «Жигули», может, руководящее кресло, а может, и отдых с шашлыками. Я в этом возрасте не был, опыта у меня нет, а догадки — штука опасная в моем положении. Угадаешь — слава тебе! — а если не угадаешь? Я ж, собственно, сюда и пришел, чтоб самому не гадать.

— Не знаю, говорю. В этом возрасте не состоял.

— Мясо, — говорит Сергей Владимирович и очень значительно поднимает палец.

Теперь-то я понял, почему он тогда о мясе заговорил. Когда в тебе четыре стопаря, так ничего важнее мяса и быть не может. В этом случае не человек управляет ферментами, а ферменты человеком. Но это я сейчас такой умный, когда к больничной койке прикован, а тогда, понятное дело, я ничего не соображал, а вбирал его мечты о жратве как откровение.

— Мясо! — повторяет он со вздохом. — Свежее, парное, желательно неперезаренное. При таком наличии не устоит. Дрогнет он.

— Ага! — говорю, хотя не вполне еще соображаю. — А где же его взять в нашем колхозе, это мясо?

— Оно мычит, — объявляет Сергей Владимирович и хлещет еще стопочку. — И будет жрать наши корма, покуда будут эти корма. А когда они кончатся, мы займемся сверхплановыми мясопоставками.

— К тому времени Валентину Лукьяновичу уж не сорок стукнет, а сорок с гаком.

— Исключительно трезвая мысль! — восторгается Сергей Владимирович и снова поднимает палец. — Но меня учили не ждать милостей от природы, а тебя учили ждать, и ты не шурупишь.

— А что я должен шурупить?

Я, честно говоря, спросил уныло, потому что перегорел. Зря, думаю, я это затеял, зря последнюю десятку прохиндею-родственничку скормил, зря время теряю. Но, как выяснилось, недоучел я его ума.

— Если мясо, которое покуда мычит и, значит, является частью природы, получает внешний дефект, я как зоотехник могу его со спокойной совестью из природы вычеркнуть. И тогда это уже не субъект инвентарного списка, а объект гастрономии.

Чего, думаю, он мне буровит? Объект, субъект, природа. Хитрит, старый черт, стажу в этом смысле у него — почти полвека. А у меня — нуль, и мне не аллегории нужны, а совет, чего мне делать, чтобы опять войти в милость. И поэтому я говорю с некоторым неудовольствием:

— Я, — говорю, — дорогой вождь и учитель, и сам с дефектом. Но как мне этим своим дефектом корову заразить?

— Только не корову! — вскричала вдруг зоотехническая совесть. — Только не корову, так как корова для нас не столько мясо,

сколько молоко. А бык — тот только мясо. Исключительно гора мяса, и я ее тебе, фигурально выражаясь, дарю ради сорокалетия нашего председателя.

— То есть как так? — спрашиваю, поскольку слегка ошалеваю от такой щедрости.

— Просто, — говорит, — как два пальца. Есть у меня бычок, которого давно пора съесть, если рассуждать научно. Самое бы время его сейчас съесть всем миром, но — запрещено, покада имеются корма. А он жрет, паразит, за восемь коров и портит мне всю отчетность. И будет только справедливо, если мы из него сделаем бифштекс к сорокалетию.

— Так ведь нельзя же бифштекс, — говорю.

— Нельзя, покада бычок цел и невредим. А если он сам себе чего повредит, то мы аккуратненько составим акт за тремя подписями и купим его сами у себя за наличный расчет.

— Ага, — говорю, — а как это он, интересно, сам себе что-нибудь повредит?

— А так повредит, — с презрением отвечает мне Сергей Владимирович, — так, значит, повредит, что ты возьмешь дрын и загонишь его на наше овощехранилище.

— Зачем?

— Затем, — говорит, — что на нашем овощехранилище не только что бычок — черт ногу сломит. И как только сломит, мы его тут же заактируем, как непригодного к дальнейшей жизни. Он отдельно содержится, в сарае, и замок там сроду не запирается. Возьмешь дрын, откроешь замок и погонишь того бычка спозаранку на крышу овощехранилища. Все понял? Тогда ступай. А я докушаю да спать лягу.

Сказал я «спасибо» и подался к выходу. Сергей Владимирович забулккал бутылкой и говорит мне вдогонку:

— Фугасом его зовут.

Вот тут бы мне, дураку, смикитить насчет фугаса, но я не смикитил. Не от тупости, а от радости, которая тоже есть тупость, если разобраться. А радость меня настигла потому, что уж больно простой, ну прямо гениально простой показалась мне диспозиция зоотехника и дальнего родственника. В самом деле, я гоню бычка на крышу овощехранилища, он там проваливается, я по-тихому сматываюсь, а Сергей Владимирович списывает бычка на мясо. А потом во время застолья, когда наш сорокалетний юбиляр разомлеет от парного оковалка, Сергей Владимирович ему ласково укажет на меня. И намекает, что негоже допризывнику торчать в резерве «куды пошлют» и лентяев. И тогда ласковый председатель Валентин Лукьянович призовет меня к столу и станет заботливо расспрашивать, в каких войсках и в каких краях я мечтаю нести армейскую службу. И уж тут все будет зависеть от меня, и дай, как говорится, мне боже красноречия на тот решающий момент.

Просто, правда? Гениально, если забыть, что бычка почему-то назва-

ли Фугасом. А я — забыл. Напрочь из башки вылетело, потому что радость — первая ступенька тупости.

Дрын я загодя готовил. И маршрут лично три раза прошел от загона, где бычок стоял, до овощехранилища, где он должен был пасть. Все изучил, все взвесил, все предусмотрел, и в ночь перед операцией спал, как младенец. И на радостях, и в предвкушении проспал самый что ни на есть спозаранок, и вышел на дело с заметным опозданием.

И вот тут самое время мне признаться о наиболее существенном моем промахе. За два дня до этого по телевизору про быков передача была, и я ее очень внимательно посмотрел для собственного развития. В этой передаче участвовали Песков, Дроздов и еще пропасть разных специалистов, и все они согласно утверждали, что бык есть домашнее животное, а потому человека очень уважает еще с доисторических времен. Как наш Толик с полстакана. И что красный цвет на него абсолютно никак не влияет, потому что бык есть полный дальтоник от природы и реагирует только на размахивания перед носом. А хитрецы тореадоры на своих корридах употребляют красный цвет не для быка, а для публики. Очень авторитетные люди выступали, и я под их воздействием в тот боевой день надел красную рубаху. Мол, если быку все равно, а рубаха легкая, то лучше бегать в ней, чем в черной, но тяжелой. И поперся на свидание с будущим бифштеком с опозданием, но зато в красной рубахе и с дрыном поперек живота. Как канатоходец.

Сергей Владимирович, дай бог ему чекушку каждый день, все объяснил точно, и я без осложнений нашел темницу, в которой томился сюрприз для председателя. Ржавый замок действительно отроду не заперся, но ворота оказались двустворчатыми, и я решил заранее, не тревожа бычка, обеспечить его выгон из привычного стойла в непривычный мир. С этой целью я прислонил дрын к стене и последовательно, одну за другой распахнул створки ворот. Мол, сейчас с дубиной зайду с тыла, огрею бычка по задку, и он рванет в ворота. А дальше, как говорится, дело техники: с коровами же я справлялся...

Это я так планировал, когда оттащил створку и начал открывать вторую. Внутри была полная тьма, створка кое-что все же весила, и я волок ее, не отвлекаясь. И уж почти доволок, когда совсем рядом ощутил горячее сопенье. И оглянулся.

Неперспективный бычок с дефектом? Возможно, я не увидел. Я увидел носорога килограмм на восемьсот, лоб — метр на ноль-пять, красные глазищи и, по-моему, пламя из ноздрей. За последнее не ручаюсь, потому что разглядывать времени не было: я с места рванул с рекордной скоростью, забыв об оружии, но зато в красной рубахе.

Царица небесная, как я летел! Я запросто побил все олимпийские и мировые рекорды на все дистанции разом, поскольку в сантиметре за моей спиной начинался лоб (метр на ноль-пять, ей богу!) подарка к соркалетию, и жар, который вылетал из его ноздрей, жег меня, как два сопла. И одна из немногих истин, которые я пока успел проверить лич-

ным опытом, вполне согласуема с современной наукой: в человеческом организме таятся воистину непостижимые возможности.

Знаете, что такое экстремальные условия? Ну, в общих чертах все знают: заблудился в тайге, оказался посреди океана, попал в снежную лавину. Все, конечно, так, но не конкретно. Конкретно, это когда бык за спиной. А ты бежишь на полсантиметра от его восьмисот килограммов и почему-то терзаешься не страхом, а идиотским вопросом: «Как твоя, гад, фамилия?..» И вдруг припоминаешь, что фамилия этой скотине Фугас и что при такой фамилии существует только один финиш. И я в отличие от законов спорта бегу не к финишу, а от него.

Все-таки, если честно, телевидение в нашей культурной жизни играет роль. Даже кино с ним не сравнится по силе внушения, не говоря уже о театре. Ну где, скажите, в каком спектакле мне покажут португальскую корриду в самом натуральном виде? Да нигде, ведь это вам не два притопа — три прихлопа, не калинка с малинкой, а натуральная игра со смертью для всех, кто этого пожелает.

Как это у них происходит? Откармливают, не экономя на кормах, стадо быков, привозят в город и объявляют, что, мол, завтра состоится народная радость. Время оговаривается точно, нормальные люди, старики, женщины и дети сидят в своих домах возле окон, а на улице остаются любители острых ощущений. Быков злят всю ночь, а в назначенный час распахивают ворота, и все эти их Фугасы взрываются одновременно. И мчатся по улицам. А впереди летят португальские психи вроде меня, и все это, вместе взятое, называется древней национальной игрой. Корридой по-португальски.

Ну, это у них. Не в смысле, что у них — всегда лафа, а у нас — всегда почему-то кругом шестнадцать, а в смысле техники безопасности этого народного развлечения. Все, кто не готов драть со скоростью, превышающей скорость разъяренной скотины, сидят дома и любят на традицию. Бегают только те, кто знает, что будет бегать, и — главное — знает, куда ему бежать. Маршрут разработан, путь расчищен, и в сторону быкам не свернуть: либо грузовиками все перекрыто, либо заборами огорожено. И вся эта экстремальная система мчит по уготованному ей направлению, где есть всякие спасительные боковые забегазки в прямом смысле этого слова. Это, так сказать, коррида в коридоре.

А у нас коррида оказалась не в коридоре, а в Большом Порядке. Утром я проканителился, вышел с опозданием да еще с воротами навзился. И когда Фугас этот взорвался в благодарность за дарованную мной свободу, наш Большой Порядок проснулся, закопошился и начал неторопливо перемещаться к точкам приложения сил. И на улице оказались не португальские добровольцы, а наше мирное население, по многолетней привычке еще не очень-то соображающее со сна.

А тут — я. С Фугасом вместо реактивного двигателя.

Что было — описать слов не хватит. Seriously все было в такой степени, что не только что ни одной шутки не прозвучало — вообще ничего



не звучало. Все драпали с озабоченными лицами, в чем сказалось принципиальное отличие темперамента жителей Большого Порядка от южной шумливости экспансивных португальцев. В экстремальных ситуациях мы молчим, как подпольщики.

А потом, честно говоря, я мало что видел. Я схватывал общее направление, чтобы мне с разбега в какой-либо тупик не залететь, и целеустремленно слушал, как этот набор мышц пыхтит за моей спиной. Остальное фиксировал боковым зрением и боковым слухом, то есть урывками. Но поскольку я по Большому Порядку промчался ровнехонько четыре полных круга, то урывков накопилось достаточно.

Ну, о главном удивлении я потом расскажу, когда, так сказать, до него добегу. А сперва, помню, передо мною минут семь наш главный бухгалтер бежал. Петр Семенович Воропайко. Полный, даже я бы сказал, рыхлый был мужчина, на сердце и на жену все время жаловался. Кто-то из них его жал, а кто-то — колол, но кто — что, я уже не помню. Да это и не существенно, потому что после того дня Петр Семенович похудел на восемь триста и больше ни на что уже не жалуется. Только радуется, что ноги унес.

А вот на втором круге в забег сам председатель Валентин Лукьянович включился. Как его под наш с Фугасом тандем поднесло, этого я сказать не могу, но два круга мы с ним сделали, как братья Знаменские. Он с кейсом бежал, и я ему крикнул, чтоб он этот свой кейс бросил к чертовой матери. Но он вместо этого ко мне повернулся и спросил в три приема: «Ты почему... канаву у конторы... не зарыл?..» Я эту свою промашку ему объяснять не стал, но во спасение его все время орал, чтобы он свернул, что ли, а я быка за собой уведу. Но он, не сворачивая, поинтересовался вдруг: «Тебе... когда... в армию?..» В ноябре!.. — кричу. «Жалко, говорит. Еще квартал мучиться...»

Ну, тут его как-то отнесло, о плетень садануло, и мы с быком промчались мимо. И он, заметьте, меня в больнице ни разу не навестил, из чего я делаю вывод, что то был не плетень, а бетонный забор, которым огорожен наш детский комплекс.

Дальше у меня — цветные пятна вместо конкретных воспоминаний. Так думаю, что доконал бык мое первое дыхание, и некоторое время я лидировал без всяких вдохов и выдохов, пока не допер до второго дыхания. Открывалось оно во мне не сразу, и у меня на этот период не воспоминания, а видения. Какие-то очень серьезные девчата с лицами неприступными и целеустремленными. Знакомый завклубом с аккордеоном, два механизатора, библиотекаря Раиса Михайловна, кто-то еще... Все это возникало и пропадало, а я покуда еще существовал.

Но долго лидировать мне бы все равно не удалось: разные у меня с быком весовые категории. И если бы не луч света, то встретились бы мы с вами через неопределенное время, но во вполне определенном месте. Ведь если все спокойно проанализировать и разложить по полочкам, то выяснится четкая картина: Фугас бежал исключительно за мной.

Он напрочь игнорировал суету вокруг нашего забега, никого не желал замечать и держался точнехонько за моей спиной, хотя я ничего ему не успел еще сделать дурного. Наоборот, я лично выпустил его на свободу, но он об этом сразу же забыл и шпарил согласно своей собственной идее-фикс. Почему, спросите? Да потому, что в тот день я оказался единственным жителем Большого Порядка в красной рубашке. Хорошенький такой.

На четвертом круге я малость прозрел, поскольку открылся во мне вентиль второго дыхания. И воля моя здесь, честно говоря, совершенно ни при чем. Я напрочь растерял все человеческое и только держал дистанцию. И так думаю, что эта метаморфоза и спасла меня на четвертом этапе забега.

Но силы таяли, это я отчетливо соображал. То есть не это я соображал: я соображал, что мне полная хана, а силы исчезали без всякого осознания с моей стороны. Я понимал, что пятого круга мне ни за что не выиграть, потому что третьего дыхания нам не дано, и что паду я под рога и копыта весом в восемь центнеров. И так я все четко себе представил, что даже не паниковал. Сил у меня на панику уже не хватало, и собственную кончину я воспринимал как конец забега. Только и всего, хотите верьте, хотите нет. Кроток я стал, терпелив и покорен, потому что за мною не бык мчался, а рок, и при выходе на четвертый круг я это осознал всем существом. И даже подумывать стал, а не пасть ли мне добровольно? Все равно спасения нет, так чего зря мучиться?

К счастью, эта паническая идея не успела мною овладеть. По той простой причине, что я среди остатков цветных вкраплений ясно разглядел, что на данном отрезке впереди меня драпает сам Сергей Владимирович. И тут вдруг меня осенило: овощехранилище! Овощехранилище, где сам черт ногу сломит! Ведь я должен был по диспозиции загнать туда этого бешеного Фугаса, чтобы он там... А я вместо этого, как последний псих, бегаю кругами по центральной усадьбе! Так уж коли не удалось мне быка загнать на овощехранилище с хвоста, то я наведу его туда с морды. Как ведущий ведомого!

Пронеслось это в моей голове во мгновение, но я все успел сообразить. Все, весь путь к спасению. И круто свернул напрямик к заветной крыше, которая начиналась прямо от земли, как шатер. Сделал я этот маневр для быка неожиданно: Фугас по инерции проскочил поворот. Но тут же развернулся и опять за мною ринулся, хотя на этом я кое-какое расстояние все же выиграл.

Вот эти полтора метра и позволили мне взлететь на крышу овощехранилища — крутизна все-таки. Вбежал я наверх, подивился, почему это за спиной никто не проваливается и никто не сопит, обнаглел и оглянулся. И последнее, что я четко увидел, так то я увидел, что Фугас стоит перед крышей, как вкопанный, и на меня смотрит из-под своего лбища метр на ноль-пять плюс рога по бокам.

— Ага, скотина! — заорал я. — Сдрейфил?.. Шкуру свою бычинуку спасаеть?..

И тут подо мною вдруг все затрещало, и я полетел вниз... Не знаю, сломит ли черт ногу в нашем овощехранилище, но я сломал. В двух местах, почему и лежу вместе с вами в этой палате.

Вчера, если помните, меня Сергей Владимирович навещал. Фруктов принес и новость: наш председатель Валентин Лукьянович после этого забега Фугаса за валюту продал. В Португалию, что ли. Вот уж где португальцы побегают...

1988 г.

## ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ

С зимнего солнцеворота прибавилось три минуты дню, но светлее не стало. Зима выдалась особо сырой и тягостной. Густые липкие туманы сползали в город каждое утро, волоча за собой хмарь и копать всех окрестных предприятий, по улицам клубилось нечто зыбкое, промозглое и угольно-горькое на вкус. Старожилы не помнили такой погоды.

— Климат-то как изменился.

— Это после Чернобыля. Точно говорю.

Да, сорок лет назад в этом самом городе был совсем иной климат.

— Помнишь, Лидочка?

— Помню, Ванечка. Все я помню, дорогой.

Лидия Петровна и Иван Степанович Костыревы поженились, отволав и отлежавшись в госпиталях в среднем полку, сколько выпало на долю всем уцелевшим фронтовикам. И случилось это ровно четыре десятилетия назад, и праздновали они свою свадьбу в ночь под Новый 1948 год в общежитии технологического института, где и познакомились. И на всю студенческую ораву, голодную и веселую, пришлось пять бутылок кагора «Араплы», шампанское, два торта и гора винограда.

— Какой же праздник у нас счастливый был, Ванечка.

— И картошку в мундире ребята с третьего курса прислали. Совсем незнакомые ребята. До чего же вкусная картошка была! До чего вкусная...

Вздыхал Иван Степанович и грустно улыбался. Не потому, что закончить институт не довелось ни ему, ни жене: пошли дети, а родных война прибрала. И даже не потому, что годы их пролетели, дети разъехались, а сами они дожидали век пенсионерами при младшей дочери. Нет, иная тут имелась причина, которую Иван Степанович и не смог бы высказать, если бы кто-нибудь его спросил. Ну, конечно, если бы, допустим, местное телевидение, тогда, возможно, Костырев бы рискнул. Тогда бы он сказал для голубого экрана примерно так:

— Жалко что? Годá? Чего же жалеть, природа это. Жалко, что вам, молодые вы мои друзья, никто котелка картошки вареной не подарит в день свадьбы. Последней своей картошечки, от собственного живота оторванной, ради чужого счастья. Вот чего мне очень даже жалко.

Но никто Ивана Степановича ни о чем не спрашивал, никто им не интересовался. Ни им, ни родной его Лидией Петровной, у которой как раз под этот Новый год исполнялось ровно сорок лет счастливой семейной жизни. Старику Костыреву, естественно, то же исполнялось, но женщины такие даты куда больше ценят. Но туманному городу не было до их дат никакого дела: город слухи тревожили.

— Еще три точки закроют...

— После Нового года?

— Нет, до. Отчитаться им в нашей трезвости надо. Так что с наступающим вас, как говорится...

Иван Степанович эти слухи игнорировал. Во-первых, он привык все приветствовать, а во-вторых, к выпивке относился с полным равнодушием. Детей у него было трое, а потому даже дешевое вино было всегда не то чтобы не по карману — в обрез. И Костыревы на это денег не тратили. По возможности, конечно, потому что все мы живем «по возможности» и навсегда приучены жить так.

А слухи катились, как утренний туман.

— По одной будут давать.

— Водки?

— По одной бутылке, понял? Водки, бормотухи, шампанского — чего тебе выйдет. Хоть сгори, хоть утопись — такое распоряжение к наступающему.

— Но почему? Почему? Самоуправство какое-то!

— Область обязательства по трезвости желает перевыполнить. Чтоб, значит, нос утереть всему Союзу.

Младшая дочь Татьяна, с которой жили старики, имела семилетнего сына, скромные алименты и профессию учительницы начальных классов. Жили, в общем, дружно, хотя Татьяна порой и выдавала от всей застоявшейся неезучести. Старики ее понимали, жалели, любили больше других и потихоньку баловали внука. И все катилось, как и положено катиться, к известной станции назначения, до которой никто не знает, сколько ему еще осталось. Дни бежали, декабрь завалился на последнюю декаду, и в городе уже привычно слышалось:

— С наступающим!..

Уже открылись новогодние базары, уже Татьяна репетировала праздничный концерт со своими второклашками, и на балконе хранилась елка, когда, проснувшись однажды ночью, Иван Степанович увидел, что его Лидочка смотрит в потолок.

— Свадьба мне наша приснилась, Ванечка. И сорок лет в этом году. Это ж еще десять лет, и мы с тобой — золотые жених да невеста.

— Да, Лидочка, это точно.

— И не заметишь, как пролетят...

Иван Степанович только головой покачал, но Татьяна, которой мать слово в слово сон пересказала, решила:

— Да отметьте вы свое сорокалетие! Это же и вправду праздник ваш, может, и мои занятые брат с сестрицей пожалуют. Отметьте, осилим как-нибудь.

Честно говоря, Ивану Степановичу не хотелось затевать этого праздника. Он намеревался устроить своей Лидочке небольшой сюрприз, поскольку тайком приобрел подарок на сэкономленные деньги. И улыбка, которой отблагодарила бы его Лидия Петровна, была бы во сто крат дороже той шумихи и суеты, которая неминуемо возникнет от самой подготовки их юбилея. Запланированная радость всегда превращается в мероприятие: в этот закон Иван Степанович верил безусловно, поскольку прожил достаточно долгую и трудную жизнь в стране с неперменным планированием всех праздников, торжеств и юбилеев. Но в данном случае он ничего не сказал, потому что очень уж Лидия Петровна обрадовалась возможному приезду остальных детей, которые редко баловали их посещениями.

— Может, дети приедут. Юрочка и Маришка.

— Так ведь картошки вареной все равно нам с тобой уж никто не пришлет,— улыбнулся муж.

— Не пришлет,— согласилась Лидия Петровна.— А того шампанского можно достать? И кагору бы. «Араплы» он назывался, я все помню!

— Сделаем,— сказал Иван Степанович.— Для такого случая, Лидочка, ничего не жалко.

Он хорошо знал все законы и постановления и неукоснительно, с подчеркнутой старательностью соблюдал их во всех случаях жизни. Это был его собственный способ борьбы с повсеместно укоренившимся разгильдяйством и наглым ничегонеделанием: Иван Степанович личным примером как бы укорял и стыдил всех тех, кто позволял себе не исполнять, нарушать и обманывать. И чуточку гордился этим своим личным вкладом в общее дело.

Но просьба жены требовала официальных разрешений, чтобы это не выглядело нарушением. Конечно, никто не объявлял сухого закона, и все же Иван Степанович терзался, не нарушает ли он тем самым... Но ответ могли дать только в официальном учреждении, и он, взяв старое, пожелтевшее свидетельство о браке, пришел в загс.

— Видите ли, тут такое деликатное дело. Мы с супругой хотели бы отметить...

— Это сорок лет получается? — почему-то с невероятной брезгливостью спросила молодая сотрудница.— Ишь, чего захотели. Положено пятьдесят, и ждите.

— Но... десять лет ждать, могу и не дожить,— вдруг заискивающе сказал Иван Степанович, но девица перебила:

— Вот если кто из вас помрет, то по свидетельству о смерти могут дать разрешение на десять бутылок водки.

— Не нужна нам водка.— Иван Степанович чувствовал собственную угодливую интонацию, негодовал, но сменить ее не решался.— Нам бы шампанского и кагора «Араплы». Так, для памяти...

— Араплы! — презрительно повторила девица.— У нас нет никакого кагора с шампанским, а есть алкогольные единицы. Доживете до своей золотой, и я вам лично десять единиц...

— Я понял, понял, хорошо! — вдруг суетливо и виновато заговорил Иван Степанович, взял свидетельство и вышел из загса с большой поспешностью.

Конечно, его неприятно кольнуло, что сотрудница так бестактно намекала на их невеселый возраст, делая это с особо настырной бесцеремонностью. И все же не это было самым обидным. Зависимость — вот что оказалось нестерпимо оскорбительным. Глупейшая зависимость от скверного настроения, каприза, дурного характера, сиюминутной обиды тех, от которых зависело, дать ему право исполнить просьбу жены или — не желаю, и все! — не давать такого права. «Господи, ведь я же и тогда непьющим был,— с глубокой обидой думал Иван Степанович.— А теперь к алкашам приравняли. На пенсии, на старости лет...»

Да, никто больше не посылал последнюю свою картошку на чужой праздник. Никто...

А праздник все равно должен был состояться непременно таким, каким хотелось видеть его Лидочке — располневшей, усталой, одышливой. А хотелось ей, чтобы на праздничном столе в честь сорокалетней годовщины ее великой радости стояли две бутылки — бутылка шампанского и бутылка кагора «Араплы», которых ни она, ни ее Ванечка заведомо не тронут, поскольку это им давно уже запретили врачи. Но тронут их дети. По глоточку, как причастие. И непременно все трое.

А идти было некуда. И жаловаться не на кого. Потоптался Иван Степанович возле загса, повздыхал, кое-как зализал ссадину в душе своей и решил сходить в последнюю инстанцию, которая еще занималась нуждами и правами фронтовиков.

— Ты что это, Костырев, постановление общего нашего собрания, которым мы на историческое решение откликнулись, позабыл? — с упреком спросил его председатель городского Совета ветеранов.— Мы же единогласно решили, что негоже участникам Великой Отечественной войны без очереди получать водку. Не к лицу это нам, которые всегда, с ранней юности громко откликались. Да ты же помнишь!

— Помню,— удрученно согласился Иван Степанович.— Но тут такой случай. Сорокалетие свадьбы фронтовика с фронтовичкой. Может быть, в порядке исключения, а?

— Тем более! — воскликнул председатель.— Два фронтовика вдвойне повышают ответственность, какие тебе еще исключения? Это ж

позор, если вдуматься, а не исключение. Форменный позор всем тем, кто кровь свою...

— Верно, верно ты говоришь, правильно, — торопливо забормотал Костырев, вставая. — Виноват, признаю свою ошибку. Счастливо оставаться.

Лидия Петровна и Иван Степанович числились «на заслуженном отдыхе», то есть с раннего утра стояли в разного рода очередях, таская в дом то, что удавалось выстоять, что, на их счастье, «выбросили» в продажу и что они успели ухватить. Их семье еще очень повезло, и все кругом завидовали им тайно или явно. А повезло потому, что они имели два удостоверения ветеранов Великой Отечественной войны и хоть отпускали по этим удостоверениям мало, они и эту малость получали в двойном размере, а значит, в глазах всего многоквартирного блочного дома жили припеваючи, то есть так, как — в чем были уверены все жильцы — живут только в Москве. В той самой легендарной, ломящейся от продуктов Москве, из которой оказавшиеся там привозили сумки, набитые мороженым мясом, безвкусными сосисками и осклизлыми колбасами в целлофановой упаковке.

— Ну, Москва живет! — вздыхали. — Постоять, конечно, приходится, но сами-то москвичи в очередях не стоят. Им, говорят, заказы на дом возозят. Ну все, что только душа пожелает — на дом!..

Костыревы в Москву не ездили и разговоров подобных не опровергали, хотя относились к ним неодобрительно. А Иван Степанович имел собственную теорию, которая как бы сглаживала уж чересчур бросающуюся в глаза несправедливость:

— В Москве иностранцев полно. Что они о нашей державе там у себя напишут, если в магазинах будет, как у нас? Клевету они напишут. И вот, чтобы не было у этих заграничных писак почвы для клеветы, мы и свозим в столицу все, что имеем.

А с винной эпопеей произошла какая-то странность. Поначалу практически все искренне приветствовали борьбу за трезвость и радовались, ощущая первые результаты этой борьбы. А они были: перестали пить на производстве, в подворотнях, на улицах и просто так. Прекратилось пьяное бахвальство, в парках, кинотеатрах и даже на танцплощадках стало вполне пристойно, и матери перестали дрожать за дочек. Город трезвел на глазах, милиция энергично хватала любого, от кого хоть чуточку пахло, а по вечерам молодые женщины уже отваживались гулять по главной улице. Утихли вопли и драки, меньше стало матерщины, и городские власти с удовлетворением констатировали заметное снижение преступности. И это было правдой, но некий червячок уже начал подтачивать трезвое благополучие города.

Беда заключалась в том, что резкое сокращение продажи винно-водочного веселья не могло не войти в конфликт с уже сложившимся сте-

реотипом «хватай, пока дают». Бутылка, приобретенная с невероятной затратой времени, как бы аккумулировала в себе это время, повышая собственную стоимость, пока не стала вполне осмысленной валютой. Валютой, которой можно оплатить любую услугу, выгодно перепродать в часы, когда официальная продажа запрещалась; которая никогда не теряла своей стоимости, а наоборот, неуклонно росла в цене, скромно спрятавшись в темном уголке кухонного шкафа. И поняв это, в очередь за «валютой» встали не только отпетые алкоголики, но и вполне трезвомыслящие жители. И очереди стали расти изо дня в день, а вместе с ними росла и цифра абсолютного потребления алкоголя городом. Росла, вместо того чтобы падать.

— Картину портим,— сокрушенно вздохнуло очень влиятельное лицо — Подработайте этот вопрос.

Подработали. По городу поползли свинцовые слухи:

— Магазины закроют...

— Время продажи сократят...

— По одной в руки...

Позже, когда в торговую сеть города спустили распоряжения и указания, слухи стали более конкретными. Это не означает, что они перестали быть слухами, нет, никто ничего не объяснял, ни в одном магазине не появилось ни одного объявления и ни в одной газете — ни строчки информации. Для горожан привычно соблюдалась тайна, и жители города привычно компенсировали ее фантастическими домыслами.

— Вообще все закроют...

— Не надо, Ванечка,— почему-то виновато вздохнула Лидия Петровна.— Бог с ним, с праздничком нашим.

Не скажи она «с праздничком нашим», Иван Степанович согласился бы — против жизни, как говорится, не попрешь. Но его жена думала о их наступающем сорокалетии как о празднике, и Костырев не мог допустить, чтобы этот праздник не состоялся. Слишком многое они пережили, слишком часто от многого отказывались, слишком мало сил осталось, слишком уж хотелось увидеть сына со старшей дочкой, чтобы рассудительно готовиться еще десять лет к точно такому же событию, но с иной, официально признанной датой.

— Надо! — строго и торжественно сказал муж, точно произнося клятву.— Будет и на нашей улице праздник, Лидочка.

— Так ведь очереди...

— Правильно отец сказал, мама,— вмешалась Татьяна.— Ну, постойт, может, как фронтовику...

— Как фронтовику не положено. Отказались мы от льгот в этом направлении.

— А вот назло! — непонятно, но горячо объявила дочь.— Обязательно даже, и все!

Продажа спиртного начиналась в два часа: это Иван Степанович знал из многочисленных объявлений в печати и по телевидению. Но по-



сколько сам он в этих очередях не стоял, то и понятия не имел, по сколько бутылок отпускают в одни руки. В этом вопросе он опирался только на слухи, а они авторитетно утверждали, что перед новым годом есть распоряжение «ровнехонько одну на нос», а пессимисты поговаривали, что вполне возможна комбинация «одна на два носа». Как бы там ни было, а Иван Степанович здраво предполагал, что «одну на рыло» — распределение вполне реальное.

— Придется, Лидочка, выбирать: либо шампанское, либо кагор. Две сразу, так думаю, что не позволят.

— Гулять так гулять, Ванечка, — бесшабашно улыбнулась Лидия Петровна. — Вместе мы с тобой жизнь прожили, вместе и за вином постоим. Назло, как Татьяна говорит.

— Точно, мама! — крикнула дочь из комнаты. — Чем больше запретов, тем дети злее: этот закон мне еще в педучилище растолковали.

— Постоим, Лидочка, — Иван Степанович озабоченно покивал. — Только ведь долго стоять придется, часа два, не меньше, говорят.

— Подменимся. Я постою — ты посидишь, а потом наоборот. И выйдем пораньше: день-то рабочий, а мы с тобой пенсионеры.

Вышли они к одиннадцати, за три часа до начала, но от магазина «Вино» уже вилась длинная очередь, во многих местах обозначенная ящиками, перевернутыми ведрами и даже складными стульями.

— Люди это, люди, — сердитой скороговоркой пояснила сухонькая старушонка с колючими глазками. — Они все загодя пришли, загодя, знаю.

— За час все явятся, — сказал полный мужчина далеко не пенсионного возраста, занявший очередь за ними. — У нас закон железный: за час до открытия не появился, значит, не стоял.

А люди все подходили и подходили, и очередь росла на глазах. Хвост ее удлинялся, шевелясь и изгибаясь, и от этого непрерывного шевеления она казалась живой сама по себе, автономно, вне зависимости от людей, и, глядя на нее, можно было бы, пожалуй, более точно понять выражение «зеленый змий», хотя змий был скорее скучно-серым. И еще он хрустел снегом, беспрестанно переступая сотнями ног.

— С наступающим!..

Стоявшие в очереди были людьми вежливыми, и предновогоднее приветствие парило над растущим змием. Хвост его уже завернул за угол, уже потерялся, пропал из поля зрения, но не мог пропасть из сознания, ибо каждый из стоявших в очереди ни на мгновение не переставал ощущать себя частичкой единого целого. У всех были равные возможности, единая цель и одинаковый способ ее достижения: по двадцатке в магазин. Двадцатку эту отсчитывали милиционеры, пропускали ее внутрь, к прилавку, а остальных задерживали, пока продавщица не кричала: «Давай следующих!» Тогда определялась очередная двадцатка, очередь передвигалась на двадцать шагов и послушно замирала до следующего крика.

— Порядок, — подытожил полный, объяснявший Костыреву технологию приобретения спиртного. — Конечно, если у кого знакомство, тогда другой коленкор. Тогда без очереди пригласят: мол, Сидор Иванович, проходи.

— И никто не спорит? — скорее из вежливости, чем из любопытства, спросил Иван Степанович.

— Себе дороже! Поспорь, попробуй, а она тебя спекулянтом объявит. Мол, ты уже сегодня покупал. И ори не ори — все равно милиция выведет. А то и привлечет. Сейчас те, кто на водке, — большая сила.

— С наступающим, граждане!

К ним подошли двое мужчин неуловимого возраста, неуловимой профессии, неуловимого семейного положения: их различали только рост и масть. Один был черен и высок, другой — тощ, белес и мелковат. Ко времени их появления очередь уже разбилась на крохотные микрообщества из двух-трех особей, объединенных территориально, и эти двое шли сейчас вдоль очереди, перекатываясь от группы к группе.

— А, вот и знакомый! — радостно объявил чернявый, увидев полного. — Мы же за тобой занимали, точно?

— Точно, мужики, — без особого энтузиазма отозвался полный, стоявший за Костыревыми. — Че слышать?

— А то слышать, что народ всегда правду режет, — сказал, шикарно сплюнув, чернявый. — На Первомайской — ку-ку водяра, у трамвайного кольца — тоже ку-ку, а на Водопьяновской — переучет.

— Мордуют, — вздохнул полный.

— Вот! — Чернявый опять сплюнул. — И потому здесь сегодня не змея тебе, а удав будет. — Он сурово оглядел стариков Костыревых и неожиданно мягко добавил: — Катитесь отсюда, старички, а особо ты, мамаша. Бока намнут, это я те точно говорю.

— Сорок лет нам, сынок, — почему-то с некоторым заискиванием сказала Лидия Петровна. — Отметить хочется, дети придут.

— Ну, гляди, мамаша. Я ведь от души.

И пошли, перекатываясь к следующим группам и везде завязывая разговор, везде находя если не знакомых, то завсегдатаев очередей. А старуха с пронзительными глазками, что стояла впереди, пояснила:

— Нарочно пугают, нарочно. Чтоб, значит, на твое место впереться. А денег у них — куры не клюют. Потому-то и проспали.

— Не проспали, а ночь работали, — поправил ее полный. — Это таксисты, у них смена по двенадцать часов.

— Спекулянты они, а не таксисты. Спекулянты! Я их тут...

— И я тебя, — с угрюмой угрозой перебил мужчина. — Сколько мест в очереди заняла сегодня, старая карга? И за трояк каждое продаешь за час до открытия.

— Чего врешь, чего врешь-то...

— Ладно, не егози, пока я про твое занятие людям не рассказал. А то ведь вашей вытолкают и очень даже правильно сделают.

— Вытолкают...— вдруг тихо согласилась старуха, и слезы градом посыпались из воспаленных остреньких глазок.— А пенсию ты мою знаешь? Знаешь? Можно на нее жить, коли у меня дочка — инвалид полный с самого детства, а муж помер давно.

— Это у тебя-то муж помер? Ты мне баки-то не заливай, старая.

— Ну нету мужа, нету. А дочка-то есть? Есть. И всю свою жизнь — инвалид.— Она громко всхлипнула и обратилась непосредственно к Лидии Петровне.— Поверишь ли, милая моя, не накормишь, так и не поест. И в двадцать один годочек — все дитя дитей.

— А ты где ее заделывала, вспомни. При буфете на пристани за полбутылки с любым сезонником...

До сих пор старики Костыревы застенчиво помалкивали. Они не стояли в подобных очередях, не слыхали обычных для этих очередей перебранок, не привыкли к крепким выражениям. Им было так неуютно, что они старались не глядеть не только по сторонам, но и друг на друга. Но последнего заявления не выдержала Лидия Петровна.

— Постыдились бы,— негромко сказала она.— Гражданочка в матери вам годится, а вы...

— В матери?— вдруг озлобился полный мужчина.— Нужна мне...

— Ну, хватит, хватит,— миролюбиво и чуть заискивающе зачастил Иван Степанович.— Не надо ругаться, не надо ссориться. Свои же люди, советские, в одной очереди стоим.

Воспользовавшись переключением внимания, старуха, шепнув Лидии Петровне: «Я на минуточку...», выскользнула из очереди бесшумно и незаметно, как мышка. А полный мужчина, занятый разговором с Костыревым, смущенно крикнул:

— Извиняюсь, конечно, просто достала она меня. И так обид у нас накопилось — на три Франции хватит, а тут эта...

— Мы понимаем, понимаем,— согласно закивал Иван Степанович.— Очень уж стояние в очередях нервы выматывает. И обидно, конечно, вы правы. Мы фашисту голову скрутили, двадцать миллионов жизней не пощадили, а очереди — больше довоенных. Может, вредительское какое?..— Он вдруг спохватился, что ляпнул нечто из прошлых формулировок, испугался, потоптался немного и сказал вдруг: — Может, пойдём отсюда, а, Лидочка? Ну их, бутылки эти.

— Нет уж, Ванечка, столько стояли, а теперь — домой? Нет уж, достоем. Мы ведь с тобой и не такое выдерживали...

А очередь тем временем жила своей жизнью, жизнью отдельных людей, добровольно выстроившихся друг за другом в стремлении к общей цели. Цель эта была равно достижима для каждого, и поэтому здесь не было ни особых ссор, ни сведения счетов, ни попыток поставить себя в положение исключительное. Нет, все добровольцы знали, на что они шли, а потому и запаслись достаточным терпением. И если очередь гудела — так сдержанно, если вздыхала — то разом, а если топталась, то на месте, только чтобы размять ноги. Она была несравненно больше обычных очередей за мясом, колбасой, сыром или маслом, но

в отличие от них — женских, истерично крикливых, недоверчивых, суетливых — обладала внутренним порядком, спокойной выдержкой и даже известным достоинством. И когда Иван Степанович осознал эту разницу, удивился:

— Знаешь, Лидочка, люди-то у нас больно хороши. В такой очереди, а стоят себе смирно, покойно. И никакие не алкаши мы: просто судьба на нас всю жизнь сбоку глядит.

— Точно, Ванечка, — вздохнула жена, — сбоку, это точно.

— Ведет! — сказал полный, стоявший за ними. — А я что говорил?

К ним приближались оскорбленная старуха и солидный мужчина в дубленке. Лицо у мужчины было хмуро отрешенным и одновременно безразличным, точно он делал очереди невесть какое одолжение.

— Это вместо меня, значит, — поспешно сказала старуха. — Сосед мой. А мне и вина вашего не надо. Не надо!..

И поспешно засемила прочь. А полный весело поинтересовался:

— Эй, сосед, сколько бабule за очередь отвалил?

— Вы ко мне? — дубленка с достоинством, всем телом повернулась. — А вам что за дело? Я же, кажется, у вас не спрашиваю?

— Чего, например? — грубовато отозвался мужчина. — Ты, дядя, тут не рыпайся, тут все равны, это тебе не в кабинете сидеть. Тут, чтоб ты знал, полная демократия с гласностью уже выполнены и перевыполнены.

— Но вы таким тоном спросили...

— Товарищи, пожалуйста, прошу, прошу, — зачастил миролюбивый Иван Степанович. — Знаете, как-то даже неудобно, честное слово. За таким, можно сказать, продуктом стоим, дружно стоим, чинно и мирно.

Засмущались его соседи. Переглянулись, дубленка полного сигаретой угостила, усмехнулись почти по-приятельски.

— Я ведь только ценой за место поинтересовался.

— Три рубля, — вздохнула дубленка. — Думаете, я из-за этого трояка расстроился? Да наплевать, я из-за спекуляции расстроился. Сами же ее и порождаем, сами, добровольно! То, понимаете ли, дефицитом, то неритмичным снабжением, то вот такими не очень продуманными мерами по борьбе с пьянством накануне праздника.

— Тут они — мастаки, — угрюмо согласился полный. — Что им очередь наша, им ведь в ней не стоять: в спецбуфете либо в спецзаказе на верняка бутылек-другой подсунут.

— Чего не знаю, о том не говорю, — строго определила свою позицию дубленка. — Но ведь всем известно, что существуют народные и государственные праздники, так зачем же усложнять населению жизнь? Надо усложнять, когда нет никаких праздников, когда в очереди, как правило, либо употребляющие регулярно, либо бездельники, либо спекулянты. Это был бы разумный государственный подход.

— Усложнять никогда не надо, — не согласился полный. — Упрощать надо, и так все заусложняли — ни вздохнуть, ни пер... Извиняюсь, мамаша, конечно, сорвалось.

Он пытался порою вовлечь в общий разговор застенчиво помалкивающих стариков. То ли симпатичны они ему были, то ли жалел он их, то ли, наоборот, с трудом выносил их инородные в этой очереди смущенные лица. Как бы там ни было, а обращался он к ним с неизменным грубоватым добродушием.

— А ведь раньше, до войны, не пили, правду я говорю, Ванечка? — сказала Лидия Петровна, даже в этой лишенной сентиментальности очереди не утратив привычного обращения к мужу. — Это ведь вы, молодые, не помните, а мы помним.

— Дешевая тогда была водка — ну, прямо, копейки, — поддержал ее супруг. — Но чтоб так вот, как сейчас, или, особо если, как пять-шесть годков назад, так, конечно, не употребляли. Не было этого в привычке.

— А потом сто граммов наркомовских ввели — и сразу привычка образовалась? — насмешливо спросил мужчина в дубленке. — Упрощаете вы социальную нашу болезнь, уважаемые товарищи фронтовики.

— У нас это не социальная болезнь, — негромко, но с неколебимой уверенностью сказал Иван Степанович. — У нас не может быть социальных болезней, потому что у нас бесклассовое общество. У нас распушенность нравов из-за периода застоя.

— Опять в исключительность играем? — усмехнулась дубленка. — У них все пороки, у нас все добродетели. Удобно!

— Бред — ежу ясно, — поддержал его полный. — Лапшу на уши полвека людям вешают.

— Полвека полнейшей дезинформации и разухабистого вранья, — серьезно, даже строго сказал мужчина в дубленке. — Помните знаменитую рубрику «Их нравы»? А выяснилось, что это заодно и наши нравы: и взяточничество, и преступность, и наркомания, и проституция, и алкоголизм, и казнокрадство, и даже, представьте себе, мафий разного рода у нас оказалось предостаточно. Вот ведь какова объективная реальность, а вы и до сей поры, как страусы, головы в песок: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего и знать не хочу.

— Нельзя же огульно охаивать наши достижения, — тихо, но крайне твердо сказал Иван Степанович. — Мы, между прочим, фашизм разгромили...

— Милиция!.. — вдруг прокатилось по очереди. — Милиция приехала! Становись в затылок друг другу! Становись в затылок!

— И никого не пускать! — закричало сразу несколько женских голосов. — Живая очередь! Живая!..

Очередь и впрямь ожила: задвигалась, загомонила, выстраиваясь строго в затылок друг другу, прижимаясь к стене дома и от этого заметно отступая назад. Иван Степанович заботливо поставил перед собой Лидию Петровну. Она оказалась за дубленкой, а за спиной самого Костырева сопел и ворочался полный мужчина:

— Через полчаса пускать начнут. Первую двадцатку.

— А почему через полчаса? — удивился Костырев. — До открытия всего десять минут осталось. Ровно десять: сейчас тринадцать пятьдесят.

— Разобраться должны, — прогудел полный. — Кому где стоять, кого куда пускать.

— Разобраться? — живо откликнулась дубленка. — Разобрать, а не разобраться. Кому сколько бутылок сегодня принести поручено.

— А вы злой, — вздохнула Лидия Петровна и виновато улыбнулась.

— Я не злой. Прощать мне надоело, понимаете?

— И напрасно. Прощение — великая сила.

— Прощение — великое равнодушие. Вот когда все мы, весь народ, как в войну, научимся ничего никому не прощать, тогда и случится то, что называется перестройкой. А будем прощать, как прощали, так и останемся на том же месте. Догнивать на передовых идеях.

— Хана, мужики! Хана! Еще раз вздрючили, гады!..

С этими непонятными криками вдоль очереди семенили давешние знакомцы, которых полный мужчина назвал таксистами — черный и белесый. Вид у них был настолько взволнованный, что полный, не утерпев, схватил белесого за рукав:

— Здесь вы стоите, за мной. Чего орешь?

— А то, что водки в два раза меньше обычного, понял? Двадцать ящиков вместо полста!

— И вина тоже урезали, — возмущенно подтвердил чернявый. — Мы точно знаем, сами грузчиков спрашивали.

— Что хотят, то и делают. Ну, что хотят, то и делают!..

С этими патетическими возласами оба таксиста стали энергично втискиваться в уже чинно выстроившуюся очередь.

— Вы тут не стояли!

— Стояли! Вон, у мужика спроси! Мужик, поддержи!

— Стояли они, стояли, — подтвердил полный, потому что они влезали как раз за его спиной, и он не хотел напрасных осложнений.

— Не видела я их! Не видела! — истерично кричала женщина сзади. — Не пускайте их! Не пускайте, граждане, что ж это делается!..

— Молчи, тетка. Мы в разведку ходили.

— Милиция! Милицию позовите!..

Участок очереди, где смирно стояли Костыревы, вдруг ожил, зашевелился, задвигался, качаясь и выпучиваясь. Люди испуганно хватали друг друга за одежду, за плечи, за пояса, чтобы только удержаться в строю, чтобы случаем не вылететь из него.

— Милиция!..

— Не пускайте никого! Не пускайте!..

— Держитесь друг за друга! Плотнее, плотнее!..

— Никого не пускать! Никого! Живая очередь! Живая!..

Очередь оживала все энергичнее, хотя таксистам уже удалось в нее вклиниться, и они теперь тоже крепко держались за соседей. Начавшаяся в этом месте суeta, толкотня и неразбериха, перекачивалась в обе стороны: удав просыпался, и дрожь его тела ощущалась во всех звеньях. И все цеплялись друг за друга, ворочаясь одновременно, слепо и бессмысленно. И чем дальше происходила подвижка от центра возмуще-

ния, тем все больше она теряла конкретный смысл, заменяясь интересами всеобщими.

— В два раза меньше, говорят...

— Говорят! А в четыре не хотите?..

— Борьба за нашу трезвость. Лучше бы за свою поборолись.

— На скольких же сегодня хватит, а? Нам-то хоть достанется?

— Может и не достаться.

— Как это то есть, может? Я четыре часа стою!..

— Эй, милиция! На сколько человек завезли?

— Продавца сюда! Давайте продавца, пусть объяснит!

— И пусть по одной бутылке в руки!..

— Это еще почему? А если у меня гости?..

— В порядке живой очереди!..

— Живой...

В это время открылась одна из створок магазинных дверей: вторая была заделана наглухо да еще дополнительно укреплена. Так было легче сдерживать напор очереди, легче бороться с попытками проникнуть в магазин сбоку, легче отсчитывать двадцатки счастливиц, которых допускали внутрь. Это была вполне разумная мера, рассчитанная на спокойную, «мертвую» очередь, но сегодня очередь оказалась «живой».

— Открыли!..

Никто потом не мог объяснить, почему вдруг привыкшая к безмолвному послушанию, выстроенная строго в затылок друг другу очередь именно в этот миг безудержно устремилась вперед. Половина двустворчатых дверей была уже распахнута настежь, двух милиционеров и продавщицу смели с порога, отбросили в тамбур, прижали к стене, и уже не очередь, а охваченная единым движением толпа повалила в магазин, в считанные секунды до отказа переполнив его. Затрещали прилавки, закричали женщины, зазвенели стекла.

— А-а-а-а!..

Рев возник сам собою, как выдох из множества зажатых, стиснутых, смятых грудных клеток. Звериный рев вместе с истошными, полными ужаса женскими криками, громогласной матерщиной, треском ломаемых перегородок. Ни о каких покупках, естественно, и речи идти не могло: распахивая окружающих, наиболее сильные прорывались за разгромленные прилавки, хватали из ящиков столько бутылок, сколько успевали, и начинали тут же яростно прорываться к единственному выходу — к служебным подсобкам, где были двери на улицу. Уже кто-то кого-то ударил, уже вовсю работали кулаками, плечами, ногами, уже никого и ничего не видели, кроме заветных бутылок, и уже никто никого не жалел и не падал.

— Что ж вы делаете, что де-е!..

— Тише!.. Тише!..

— Люди!..

— Спаси-и!..

Гулко треснуло и со звоном вылетело витринное стекло. Кого-то бросали на него, кого-то прижимали к его осколкам: брызнула первая кровь, упали первые люди, но и по крови, и по людям неудержимо, с бессмысленной силой и яростью топали новые семенящие ноги. Конечно, большинство шло не по своему желанию и вопреки своей воле, но у толпы свои законы, не подчиняться которым не может ни один самый отчаянный одиночка: его сомнут и раздавят. С толпой есть лишь один способ борьбы: не допустить ее возникновения. Но здесь она уже вышла из-под контроля.

В тесном магазинчике — местные власти сделали все, чтобы затруднить жителям приобретение спиртного, — был ад. Кричали, дрались, топтали упавших, рвали за одежду, за волосы, визжали от ужаса, матерились и били, били, били, прорываясь то ли к ящикам с водкой, то ли просто на волю. Но улица, слыша вопли и топот, не представляла себе истинного положения дела, а если бы и представляла, уже ничего не смогла бы сделать. Массовый психоз, превращающий нормальных, спокойных, даже выдержанных людей в одичавших громил, не знающих ни жалости, ни милосердия, уже порастил ее. Все стремились только к одной цели: попасть в магазин, и даже те немногие, которые уже не хотели этого, поделаться ничем не могли. Они могли лишь подчиниться законам толпы, то есть идти туда, куда она вела...

— А-а-а!..

— Люди!.. Товарищи-и!..

— Лидочка!.. Лидочка, держись за дубленку товарища!.. Держись, Лидочка!..

Сам Иван Степанович за свою Лидочку держаться не решался. Он изо всех сил оберегал ее от толчков, и его мотало в толпе, как щепку. Старики все время пытались выбраться из очереди (бог с ним, с шампанским и кагором «Араплы!»), но чинная очередь давно сломалась, давно образовала несколько параллельных рядов, а задние все нажимали и нажимали, и приходилось старательно семенить, чтобы не упасть, не споткнуться, не позволить оторвать себя от стены, вдоль которой они когда-то выстраивались, потому что с этой стороны никто не давил, не жал, не дергал.

— Лидочка, держись!..

— Ванечка, обопрись на меня. Ванечка, обопрись!..

— Люди, опомнитесь! — кричала дубленка, покорно семеня к входным дверям под напором сзади стоящих. — Что же вы делаете, люди?!..

Торопливо семенящая очередь — уже не в один, а в два-три ряда! — втягивалась в узкую дверь магазина, как в воронку. Вторая, наглухо заделанная створка, в которую беспрестанно ударялись то плечами, то грудью, то головами те, кого несло с перекосом, мимо открытой двери, вздрагивала под этими ударами, но пока стояла несокрушимо, заблаговременно укрепленная железными полосами. Здесь было самое узкое место, резкий перепад, за которым следовал относительно свободный тамбур и еще одни двустворчатые двери, ведущие непосредственно



в магазин. Эти двери, ничем не укрепленные, были сметены первым же людским потоком, разбиты и распахнуты настежь. Таким образом, сразу же за узким выходом движение на некотором промежутке ускорялось, чтобы затем тупо упереться в неразбериху, крики, стоны, слезы, матерщину, звон посуды и треск ломаемых переборок.

— Держись, Лидочка!..— отчаянно закричал Иван Степанович.

А закричал он, потому что сильным нажимом пристроившейся «незаконной» очереди его оторвало от Лидии Петровны. Между ним и его женой вклинились широкие суконные спины, кто-то локтем двинул Костырева в лицо, но он не почувствовал боли. Он весь был впереди, он думал только о ней, о своей Лидочке, унесенной человеческим потоком, пытался увидеть хотя бы ее платок, но Лидия Петровна была маленького роста, и суконные спины напрочь перекрывали ее.

— Говорил, держись за старуху!— зло кричал над ухом полный, приклеившийся к Костыреву, как пластырь.— Скольких вперед пропустил, дерьмач старый!

— Лидочка!.. Лидочка!..— не слушая, надрывно кричал старик, покорно семена к дверям в объятиях полного соседа.

Крик потонул в отчаянном женском вопле, полном боли и ужаса, и Костырев не то чтобы узнал— животный крик этот узнать было уже немислимо,— Костырев понял, кто это кричит.

— Лидочка!.. Тише!.. Прошу, товарищи, милые, прошу...

А впереди в узком проеме дверей творилось нечто непонятное. Очередь вдруг заметалась, многие неожиданно начали подпрыгивать у самого порога, резко усилились крики, но, кроме мата да отдельных междометий, ничего нельзя было разобрать.

— Лидочка!..

Костырева уже поднесло к двери, и он увидел ее. Свою жену, с которой прожил сорок лет без четырех дней, женщину, родившую ему троих детей. Боевого товарища, фронтовую радистку, раненную за неделю до конца войны.

— Лидочка...

Она лежала ничком на самом пороге, платок сбился с седой головы, и на этой седине особенно ярко проступила кровь. Видно, ударило Лидию Петровну виском о косяк, видно, уронили ее те, кто давил сзади, видно, отшатнулся в естественном порыве тот, в дубленке, и она упала лицом вниз, а правая, естественно вывернутая рука пересекла порог. И на какую-то долю секунды, сдержав чудовищный напор толпы собственным старческим телом, Иван Степанович с необычайной, неестественной ясностью увидел и окровавленную голову, и растоптанную откинутую руку, и тут силы покинули его, и он рухнул на ее тело...

## СОДЕРЖАНИЕ

Не имей сто рублей . . . . .	3
«Холодно, холодно...» . . . . .	11
Коррида в большом порядке . . . . .	21
Живая очередь . . . . .	33

Борис Львович ВАСИЛЬЕВ

КОРРИДА В БОЛЬШОМ ПОРЯДКЕ

*Рассказы*

Редактор А. В. Караулов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 14.10.88. Подписано к печати 08.12.88. А 10439 Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.  
Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,31. Тираж 150000 экз. Заказ № 3170  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ГОВОРИТ «РОССИЯ»**

Путешествия и экскурсии, командировки и отдых на даче станут более приятными, если есть переносной радиоприемник «Россия-303-1». Аппарат принимает радиопередачи в диапазонах ДВ, СВ, КВ I и КВ II. Приемник имеет движковую настройку тембра, ручку точной настройки диапазонов КВ. Масса — 1 кг.

Цена — 59 руб.

**ЦКРО «Радиотехника»**